ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕМУАРНАЯ БИБЛИОТЕКА

А. В. ГЕРАСИМОВ

НА ЛЕЗВИИ С ТЕРРОРИСТАМИ

YMCA-PRESS



ОСНОВАНА А. И. СОЛЖЕНИЦЫНЫМ

СЕРИЯ

НАШЕ НЕДАВНЕЕ

4

YMCA–PRESS
11, Rue de la Montagne-Ste-Geneviève – 75005 - Paris

А. В. ГЕРАСИМОВ

НА ЛЕЗВИИ С ТЕРРОРИСТАМИ

1985

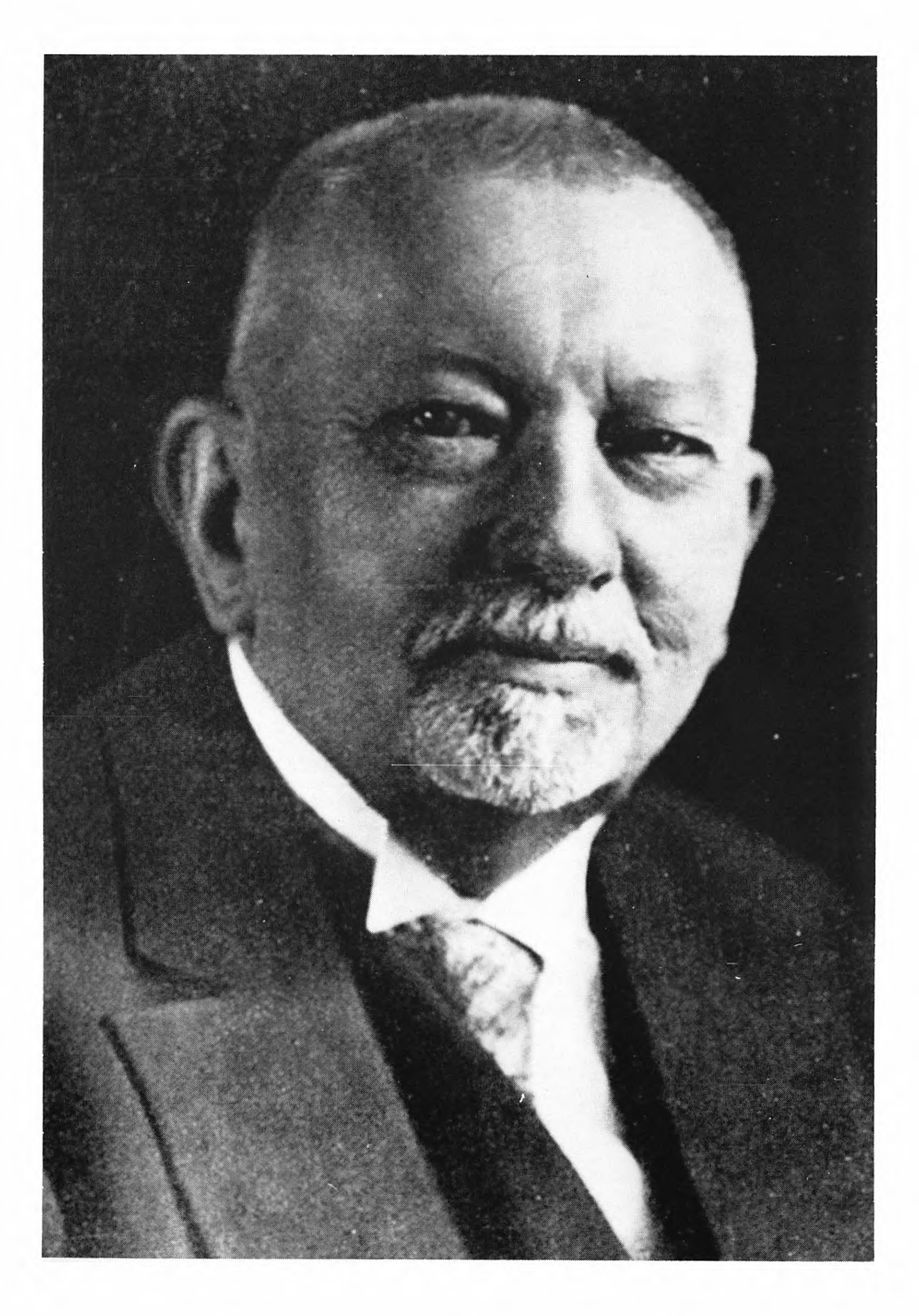
Книга ген. А.В. Герасимова была издана в 1934
на немецком и французском языках:

Alexander Gerassimoff
Der Kampf gegen die erste russische Revolution
Frauenfeld, Huber, 1934

A. V. Guérassimov
Tsarisme et Terrorisme: souvenirs du général Guérassimov
Paris, Plon, 1934

По-русски воспоминания публикуются впервые,
благодаря любезному разрешению Гуверовского
Института Войны, Революции и Мира (Стэнфорд,
Калифорния), где хранится оригинал рукописи.

I.S.B.N. 2-85065-062-5



Глава 1

ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ

После тридцатишестичасовой поездки скорым поездом – утром 2 февраля 1905 года я сижу в С.-Петербурге лицом к лицу с директором Департамента Полиции А.А. Лопухиным. Он вызвал меня по телеграфу из Харькова.

– Вы должны взять на себя руководство Петербургским Охранным отделением.

Я был знаком раньше с А.А. Лопухиным по Харькову, в бытность его прокурором харьковской Судебной Палаты. Я знал его спокойным и сдержанным человеком. Но сейчас этот чопорный аристократ говорил с непривычной, повышенной нервозностью. Мною овладело чувство сопротивления, какое-то отталкивание. Колоссальный город, совершенно незнакомый; ведомственные лабиринты с возбужденной атмосферой работы и масса непредвидимых осложнений. Я думал в этот момент о солнечных садах в окрестностях Харькова, о размеренной службе в харьковском Охранном отделении, о своем спокойном сне. Правда, и Харьков уже не такая теперь провинция. В последние месяцы там не прекращалось забастовочное движение среди рабочих. Там имеется университет с вечно беспокойной студенческой молодежью, питающей революционные кружки социалистических организаций и ведущей пропаганду среди рабочих. Но, конечно, в сравнении с туманным, мятущимся, революционным Петербургом, Харьков – это глухая провинция. Безумные, всю Европу взволновавшие события 9/22 января („красное воскресенье") дошли до меня в форме скупого телеграфного известия, которое я прочел с тревогой обеспокоенного патриота, – в сознании, что новая эпоха открылась в истории России. Но в служебном порядке мне нечего было делать с этими событиями, я был ограничен ролью наблюдателя издалека. И вот сейчас я должен очутиться в самом сердце этого опасного безумия, должен соучаствовать, распоряжаться, принять на себя ответственность.

Лопухин, по-видимому, заметил, что то чувство, которое вызвало во мне его предложение, никак нельзя назвать восторгом, и счел нужным добавить некоторые разъяснения.

— Вы знаете, что генерал Трепов назначен Его Величеством С.-Петербургским генерал-губернатором с неограниченными почти полномочиями. Чрезвычайные происшествия последних дней требуют и чрезвычайных мероприятий. Трепов нашел Петербургское Охранное отделение в состоянии, которое ему абсолютно не понравилось. Он хочет совершенно преобразовать это ведомство. Для выполнения этой задачи ему требуются особенно способные люди. Я предложил ему вас. Из всех знакомых мне жандармских офицеров вы кажетесь мне единственно подходящим.

Я излагаю свои сомнения:

— Конечно, эта задача требует всего человека. Но я не верю, что я — именно тот, кто здесь нужен. Руководитель петербургской охраны должен знать Петербург, как содержимое своего кармана. Я знаю хорошо только Харьков. Там моя работа может быть полезна. Я предпочел бы остаться в Харькове.

— В данном случае, — возразил Лопухин, — я бы на вашем месте не решился сказать: нет. Мне это безразлично, ибо я дольше не остаюсь здесь. Но... ведь вы знаете генерала Трепова. Он решил вас назначить и ежедневно по телефону справляется, когда вы здесь будете. Завтро утром в десять часов ваш прием у него. Если вы отклоните его предложение, можете считать свою карьеру законченной.

Я покинул Департамент Полиции. За отсутствием каких-либо дел в этот день, я бродил по Невскому проспекту. Какое зрелище открылось моим глазам! Опрокинутые плакатные столбы, разбитые витрины в магазинах, бесчисленные воронки в стенах от винтовочных пуль — все следы красного воскресенья. Нежелание переселяться в Петербург значительно во мне усиливается.

Когда на следующий день я появляюсь в Зимнем дворце на аудиенции у Трепова, я ощущаю в себе решимость отклонить назначение на пост руководителя Петербургского Охранного отделения даже под угрозой, что мне вообще придется покинуть корпус жандармов. Хотя мне 44 года, но я не озабочен своим будущим. Небольшие средства, которыми я располагаю, предохраняют меня от нужды.

Трепов принял меня точно — секунда в секунду в назначенное время, в великолепном зале царского дворца, где в знак особой милости ему были отведены покои под квартиру, как и под ведомственное учреждение. Он говорил лаконично, языком приказа высшей военной власти — подчиненному.

— Мне нужен для руководства политической полицией способный офицер. Мне вас рекомендовали. Можете ли вы уже сегодня вступить в должность?

Теперь очередь была за мною. В результате долгого процесса углубления и размышления я ясно видел, что именно мне нужно сказать. Но до этого не дошло. Создавшейся ситуации, признаться, я не дорос: жандармский полковник из провинции, я стоял лицом к лицу в царском дворце с могущественным генералом Тре-

повым, любимцем Царя. Он приказывал, – как можно было тут думать об отказе? Тщательно подготовленные мои соображения я не смел высказать. Все, что сконцентрировалось во мне в области возражений, свелось единственно только к вопросу Трепова, готов ли я уже „сегодня" вступить в должность.

– Сегодня, – сказал я, – совершенно невозможно. Я ведь должен сдать должность в Харькове, ликвидировать свое имущество, перевезти сюда семью.

– Сколько же времени вам для этого понадобится? Достаточно ли одной недели?

– По меньшей мере две.

Трепов секунду обдумывал.

– Итак, хорошо. Если только сможете, поспешите. Крайний срок – в этот же день через две недели.

Было уже поздно, но, придя несколько в себя, я счел нужным хоть некоторые мои сомнения изложить: Петербург мне совсем чуждая область, и, может быть, руководство охраной будет мне не по силам...

Трепов еле выслушивал меня.

– Я вам дам хорошего советника, – прервал он, – вы знаете Рачковского? Он будет с вами сотрудничать.

Удрученный, недовольный своим умением держаться, я вечером возвращался в Харьков. Будущее представлялось мне далеко не в розовом свете. Но сейчас уже все было решено. Нужно думать о том, как справиться с новыми задачами.

Две недели спустя, 17 февраля, я заявился на прием к Трепову. Он вновь меня принял немедленно. Как только я затворил за собой дверь, он в чрезвычайном возбуждении сказал мне:

– Мне только что телефонировали из Москвы, что убит великий князь Сергей Александрович. Неизвестный бросил в него бомбу. Великий князь был разорван на части... Ужасная смерть...

Трепова нельзя было узнать. Глядя пред собой неподвижным взором, он непрестанно повторял: „ужасно... ужасно...". Он был лично очень предан великому князю, долгие годы под его началом служил в качестве офицера, а затем, когда Сергей был назначен генерал-губернатором Москвы, в качестве московского обер-полицмейстера. Жестокая смерть великого князя была для него катастрофой, постигшей одного из близких людей.

И меня эта страшная весть также глубоко взволновала. Ко всему, что потрясало Россию уже в течении месяцев, ко всем массовым восстаниям, забастовкам, террористическим актам, – ко всем этим безумным судорогам возбужденного народного организма, – покушение на дядю царя явилось как бы зловещим заключительным эффектом. Еще более тяжким и безумным, чем до сих пор, представлялось мне будущее. Как бы отвечая на мои мысли, Трепов сказал:

– Я узнал, что в Петербурге работает новая террористическая группа. Она недавно прибыла из-за границы. Ею подготовляются покушения на великого князя Владимира, на меня и – кто знает – на кого еще. Слушайте: ваша первая задача – ликвидация этой группы. Не горюйте о том, что это нам дорого обойдется. Любой ценой схватите этих людей. Поняли? Любой ценой!

В Департаменте Полиции, куда я пришел после приема у Трепова, я застал всеобщее смятение. За время моего следования в Департамент Трепов нанес туда короткий визит. Высшие чины Департамента передавали друг другу, что генерал-губернатор без доклада бурно ворвался в кабинет директора Лопухина, бросил ему в лицо одно слово: „Убийца!”, – и хлопнул за собою дверью. Трепов открыто бросил обвинение начальнику Департамента Полиции в неудовлетворительной постановке охраны великого князя. Ничего подобного не было еще в истории Департамента.

Вечером того же дня я вступил в должность. Петербургское Охранное отделение занимало большой дом на Мойке. Я подымаюсь по лестнице и останавливаюсь в полном изумлении. В проходах снует масса народа. Кое-где дверь не закрыта. Я вхожу в комнату: за своим письменным столом сидит жандармский офицер, перед ним стоит какой-то человек в штатском. Жандармский офицер, уже осведомленный, кто я такой, приподымается с места и здоровается. Я спрашиваю, указывая на штатского:

– Кто этот человек? Арестованный?

– Нет, господин полковник, это тайный агент (секретный сотрудник).

– Что? – говорю я, – тайный агент? Вы допускаете, чтобы секретный сотрудник ходил в Охранное отделение? Но ведь это же совершенное безумие. Если его увидит кто-нибудь из террористов, он погиб.

– Простите, господин полковник, – отвечает офицер, – это незначительный агент, и он к тому же постоянно врет.

Я был ошеломлен. Было некстати сейчас разъяснять офицеру методы политической секретной агентуры. Я иду дальше и дальше изумляюсь. Все, что я в этот первый день и в последующий увидел в большом доме Охранного отделения, уяснило мне, как был Трепов прав, считая, что здесь необходима радикальная чистка и в срочном порядке. Эти дефекты организации, эта перепутаница – были карикатурой на политическую тайную полицию. Говорят: властители империи находятся под угрозой террористов – превосходно организованных, точно работающих, после тщательной подготовки молниеносно осуществляющих свои планы. Но аппарат, который должен их задержать, пересечь путь, выпытать планы и свести их на нет, этот аппарат ведет призрачное существование, противоречащее всем требованиям момента и лишенное всякой цели и смысла.

Уже в первый вечер я снесся с Рачковским, который к этому

времени состоял при Трепове в качестве эксперта по секретным полицейским делам, влияя преимущественно изнутри и держась в тени. Рачковский явился ко мне и рассказал, что знал, о новой петербургской группе террористов. Это было немного. Без сомнения, группа, о которой говорил мне Трепов, существовала и подготавливала покушения. Но кто были эти люди, где они проживали? Рачковский не имел ни малейшей точки опоры, не знал ни одного, хотя бы самого незначительного, имени, которое можно было бы поставить в связь с ними. В темноте, ощупью, он прилагал величайшие усилия для того, чтобы найти хотя бы одного (верного) человека, который мог бы завязать сношения с группой и доставить заслуживающие доверия известия.

Эту первую ночь в охранном отделении провел я за пустым письменным столом – в то время, как вокруг меня офицеры и чиновники занимались своей непонятной деятельностью, – отчаиваясь и кляня свою судьбу, поставившую передо мною такую задачу. Мне ничего иного не оставалось, как сказать находящимся под угрозой террора высоким особам: „Террористы замышляют против вашей жизни. Они нам неизвестны. Мы не можем ничего против них предпринять. Мы можем вам только одно рекомендовать – если вам дорога собственная жизнь, не покидайте своих жилищ".

Так прошли, не продвигаясь вперед ни на шаг, три недели. Великий князь Владимир, брат которого Сергей только что погиб в Москве такой страшной смертью, генерал Трепов и ряд других высоких особ не могли передвигаться свободно. Не наложи они на себя домашнего ареста, они могли бы осмелиться показаться на улицу только под самой сильной охраной. Положение было совершенно невыносимое.

Глава 2

ТЕРРОРИСТЫ

На двадцать первый день моей деятельности в качестве руководителя Петербургского Охранного отделения случилось нечто необыкновенное. Как всегда, я сижу ночью за письменным столом, как всегда занимаюсь разбором и расчленением сообщений агентов, ищу в них следов террористов, комбинирую одну возможность за другой. Звонит телефон. У аппарата – полицейский чиновник. Он не говорит, он прямо кричит:

– Взрыв в гостинице Бристоль, четыре комнаты разрушены, один убитый...

Не ожидая, не хочет ли он еще дальше сообщить что-нибудь, я выбегаю в переднюю, беру с собой одного чиновника, нанимаю первого извозчика на улице и еду в гостиницу Бристоль.

Что случилось? Опять кто-нибудь из террористов пал жертвой? Извозчик подъезжает, я выхожу и оказываюсь перед горой разрушений. Четырехэтажная гостиница имеет 36 окон; все 36 лежат в осколках на улице среди кирпича и обломков мебели, выброшенных взрывом сквозь окна гостиницы. Динамит бушевал с ужасающей силой.

Было 4 часа утра, когда я вошел в гостиницу. Полуодетый, бледный как смерть, вышел мне навстречу владелец гостиницы. Он что-то бормотал невнятное. Я оттолкнул его в сторону и взбежал по ступеням вверх. Здесь посреди разрушенных комнат находилось самое место взрыва. Все комнаты этажа стояли открыты – взрыв сорвал все двери с петель.

Вступаю в место наибольших разрушений – в комнату №27. Я был готов к самому худшему, но то, что мне привелось здесь увидеть, превосходило все представления. Обстановка комнаты и обломки стен лежали подобно куче мусора, и все эти обломки и клочья были там и тут усеяны мельчайшими частицами человеческого трупа. Поблизости разбитой оконной рамы лежала оторванная рука, плотно сжав какой-то металлический предмет, – картина, которую я не могу забыть.

Служащие гостиницы доложили мне, что жилец этой комнаты, исключительно красивый и жизнерадостный молодой человек, был заявлен в качестве богатого англичанина под именем Мак-Келлог. Образ молодого человека, жившего еще несколько часов тому назад, и его разорванный в клочья труп сплелись в моем представлении в одно странное, призрачное видение. Внезапно снова овладело мною острое оцепенение, которое, казалось, я уже преодолел. Подобная же судьба, – думал я, – может постигнуть и меня... Отчего я не остался в Харькове?

По всем обстоятельствам дела, не было сомнений в том, что это был несчастный случай с террористом, заряжавшим бомбу. Бомбы террористов представляли опасность не только для великих князей и губернаторов, но также и для изготовителей этих бомб. Они содержали в себе горючие и взрывчатые вещества: серную кислоту, хлористый калий, гремучую ртуть и динамит, плотно прилегающие друг к другу в ломких сосудах. Принцип изготовления бомб заключался в том, что при ударе бомбой по твердому предмету стеклянная трубочка разбивается, и находящаяся в ней серная кислота выливается на смесь хлористого калия с толченым сахаром; при соприкосновении с серной кислотой эта смесь воспламеняется и приводит к взрыву гремучую ртуть, которая в конечном счете вызывает взрыв уже собственно взрывчатого вещества – динамита. У человека, именовавшего себя Мак-Келлогом, во время заряжения бомбы разбилась в руке стеклянная трубочка. Быть может, он был неосторожен или устал.

Прошло еще некоторое время, пока мы узнали, что взрыв в гостинице Бристоль свел на нет один из самых значительных заговоров последнего времени и что павший жертвой несчастного случая „англичанин Мак-Келлог" был в действительности Макс Швейцер, руководитель тщетно разыскиваемой петербургской террористической группы. Покушения, для которых Макс Швейцер в своем гостиничном номере изготовлял бомбы, должны были быть произведены через три дня, 14 марта. Наступала двадцать четвертая годовщина со дня убийства Императора Александра II. На торжественную панихиду в церкви при Петропавловской крепости должны были, как каждый год, явиться властители официальной России, и адский план Швейцера состоял в том, чтобы использовать момент разъезда из церкви для покушения в массовом масштабе. Одновременно в память казни террористов 1881 года должны быть убиты бомбами четверо высших государственных людей России: Главнокомандующий Петербургским военным округом князь Владимир, генерал-губернатор Трепов, министр внутренних дел Булыгин и его товарищ Дурново. Осуществление швейцеровского плана одним ударом обезглавило бы все русское правительство.

То, что таков был план террористов, я узнал позже, но уже тогда, после взрыва в гостинице Бристоль, я не сомневался, что этот

случай должен помочь мне попасть на след широко задуманного заговора. И все мои усилия были направлены сейчас на то, чтобы выследить членов группы.

Как раз в это время мы, наконец, нашли человека, который был в состоянии завязать сношения с террористами. Это был Николай Татаров, ссыльный революционер. Сын протоиерея варшавского кафедрального собора, лет около 28 от роду, Татаров был выслан в Сибирь за организацию революционной, нелегальной типографии. Через посредство генерал-губернатора Западной Сибири графа Кутаисова Рачковский предложил Татарову довольно высокую сумму, и последний, в жажде денег и тяготясь ссылкой, выразил готовность поступить на службу в полицию.

Татаров приехал в Петербург и был без дальних слов принят в круг социалистов-революционеров, не имевших, естественно, никакого представления о его эволюции. Хотя его не посвятили в деятельность боевой группы, но он весьма скоро выяснил, что определенные лица поддерживают сношения с террористами, и назвал нам этих лиц. Этого было достаточно. Для политической полиции имя — не звук пустой. Имя, по которому можно найти человка, — это почти все...

Нужно отметить, что Татаров имелся в распоряжении Петербургского Охранного отделения еще до моего приезда. Сношения с ним вел Рачковский, который мне намекнул, что у него имеется секретный агент, но в подробности не входил. Я не счел нужным расспрашивать, предполагая, что ничего существенного, что наводило бы на след террористической группы, у Рачковского нет. Я сосредоточил в своих руках все внешнее наблюдение, так сказать всю исполнительную власть, удовлетворившись заявлением Рачковского, что секретная агентура сконцентрирована в руках такого опытного человека, как Медников, которого вывез с собой по приезде из Москвы Зубатов. Но после взрыва в Бристоле мне пришлось переменить свое отношение к этому делу. На собраниях агентов, происходивших по вечерам в Охранном отделении, выяснилась картина общей расхлябанности, которую далее переносить было невозможно. Я решил, оставляя Татарова за Рачковским, постепенно перенять всю секретную агентуру в свои руки...

Татаров назвал некоторые имена. В поисках названных лиц мы наткнулись на след одной женщины, старой революционерки Ивановской. Четверть века тому назад она приняла участие в организации покушения на Александра II, была тогда арестована и приговорена к пожизненной ссылке в Сибирь. После больше чем 20-тилетнего пребывания на каторге ей удалось бежать, и вот сейчас она вернулась в Петербург для участия в новых актах. Разумеется, она проживала здесь без всякой прописки, нелегально. У нас не было никакого сомнения в том, что она принадлежала к петербургской террористической группе.

Мы вели наблюдение за квартирой этой женщины в течении круглых суток; наши люди следили на улице за каждым ее шагом. Таким образом нам удалось установить личности всех ее знакомых без исключения, тем самым, и членов петербургской террористической группы.

Рачковский высказывался против немедленных арестов. И по сведениям, полученным от Татарова, мы располагали еще временем, которое можно было затратить на дальнейшую слежку и наблюдение. Я оценивал, однако, ситуацию не так. Взрыв в гостинице Бристоль свидетельствовал, что революционеры лихорадочно готовят свое выступление. В воздухе чувствовалась близость покушения. Когда у квартиры министра внутренних дел был замечен человек в фуражке посыльного, систематически дежуривший на улице, и когда этот посыльный при попытке ареста оказал вооруженное сопротивление, — я решительно оборвал выжидательную тактику Рачковского. Необходимо было немедленно приступить к арестам.

С этого момента я взял в свои руки, помимо внешнего наблюдения, также и всю секретную агентуру.

Спустя три недели после взрыва в гостинице Бристоль, 29 и 30 марта, вся террористическая группа числом в 20-ть человек была арестована и посажена в ту самую Петропавловскую крепость, которую она избрала ареной для своего массового убийства. За одним единственным исключением, все эти аресты происходили без особых осложнений.

Наблюдения наши, предпринятые на основании сообщений Татарова, навели нас на дальнейшие, изумительные следы: одно из подозрительных лиц принесло таинственный чемодан на квартиру некоего высокопоставленного лица, вращавшегося в знатном обществе при дворе, и оставило там этот чемодан для передачи племяннице этого лица, молодой девушке Татьяне Леонтьевой. Я не знал содержимого чемодана, — в нем могли быть и невинные вещи, — но я должен был сам в этом убедиться.

Полицейский офицер, которого я туда отправил с поручением исследовать содержимое чемодана, вернулся с пустыми руками. Высокопоставленный хозяин квартиры возмущенно возражал против полицейского обыска в его квартире; мой офицер был обескуражен и вынужден уйти.

Мною овладело подлинное возмущение. Мы преследуем опасную террористическую группу, а тут сановная особа становится на пути нашего расследования. Я посылаю вторично офицера, даю в его распоряжение несколько полицейских чиновников и уведомляю, что настаиваю на непременной выдаче чемодана. Если он не будет выдан добровольно, я возьму его силой. На этот раз офицер проявил решительность; он получил чемодан, открыл и нашел его до краев наполненным динамитом и составными частями бомб.

Этот случай, — особенно после взрыва в Бристоле и ареста по-

тербургской группы террористов, – можно считать поворотным пунктом в деятельности Охранного отделения: он означал собой начало политики твердой руки. И для меня лично он имел решающее значение. Я начал ощущать под собой прочную почву, сознавая всю важность занимаемой мною должности.

Содержимое чемодана повлекло за собой неизбежно арест адресата – Татьяны Леонтьевой. Это был совершенно исключительный случай. Охранное отделение видело в своих стенах арестованных различного рода и происхождения, но среди них не было еще такой юной женщины. Дочь якутского вице-губернатора, воспитанная в институте для благородных девиц, не старше 20-ти лет от роду, богатая и красивая девушка имела доступ к царскому двору; в самое ближайшее время предстояло назначение ее в фрейлины царицы. Одному Богу известно, в какое общество она попала и как стала революционеркой. Спустя долгое время я узнал о намеченном ею плане совершить покушение на царя на одном из придворных балов, где она должна была выступать в качестве продавщицы цветов. В план входило: преподнести Царю букет и в это время застрелить его из револьвера, спрятанного в цветах. Этим выстрелом Леонтьева хотела перед лицом всего мира дать ответ на убийства красного воскресенья. Вероятно, ей удалось бы осуществить свой замысел, если бы, как раз под впечатлением от красного воскресенья, не были прекращены всякие балы при дворе.

Жизнь Леонтьевой закончилась трагически. После нескольких месяцев одиночного заключения в Петропавловской крепости она душевно заболела. Семье удалось добиться освобождения ее из тюрьмы для помещения в одну из лечебниц. Она была отправлена в Швейцарию. Там она тотчас вступила в сношения со своими товарищами. Она обратилась в Боевую организацию партии социалистов-революционеров с просьбой дать ей вновь возможность принять участие в терроре. Руководитель Боевой организации Савинков советовал ей прежде всего несколько отдохнуть и полечиться. Этот совет она восприняла крайне болезненно, считая его отклонением ее просьбы о работе в терроре. В жажде „террористического героического акта" она примкнула к другой революционной группе. Тут разыгрался последний акт ее трагедии.

Татьяна Леонтьева поселилась в Интерлакене в отеле Юнгфрау, где проживал в качестве курортного гостя некий семидесятилетний Мюллер. Она одевалась очень элегантно, свободно прогуливалась по салонам отеля и ежедневно ела за табльдотом, в одном зале с Мюллером. Наблюдая в течении нескольких дней Мюллера вблизи, 1-го сентября 1906 года она попросила накрыть для себя отдельный столик поблизости от старого Мюллера, во время обеда встала из-за своего стола, подошла вплотную к Мюллеру и сделала несколько выстрелов из браунинга в этого одинокого и ничего не предполагавшего старца. Уже от первого выстрела он упал, остальные она выпу-

стила уже в хрипевшего, лежащего на полу человека. Через несколько минут он был мертв.

Шарль Мюллер, рантье из Парижа, крупный миллионер, в течении долгих лет приезжал каждое лето в Интерлакен для лечения. Татьяна Леонтьева застрелила его, ложно принимая за бывшего русского министра внутренних дел Дурново. Мюллер имел несчастье не только походить лицом на Дурново, но к тому же носить то самое имя, которым обычно пользовался Дурново в своих заграничных поездках.

В марте 1907 года Татьяна Леонтьева были приговорена Тунским судом к многолетнему тюремному заключению... В первый, но не в последний раз мне пришлось увидеть рожденную для счастья молодую жизнь, обреченную на вечную муку из-за причастности к революции.

Захват петербургских террористов потребовал также человеческой жертвы. При чрезвычайно драматических обстоятельствах — почти ровно через год — закончилась жизнь человека, помогшего нам набрести на след террористической группы. Анонимным письмом, вышедшим несомненно из полицейских кругов, Николай Татаров был разоблачен как шпион. Комиссия, назначенная партией социалистов-революционеров, подвергла его перекрестному допросу. Татаров запутался в противоречиях, был пойман на лжи, однако не сознался. Он знал уже, что наступит неизбежный, немедленный конец. В страхе неминуемой смерти он бежал в Варшаву и скрылся в квартире своего отца.

4 апреля 1906 года позвонили в дверь дома протоиерея Татарова. Старик открывает двери. Снаружи стоит какой-то человек и хочет говорить с Николаем Татаровым. — Моего сына здесь нет, — отвечает старик, — и с ним вообще говорить невозможно.

Тут выходит мать, а за нею и рослый, высокий сын.

Без слов вынимает незнакомец револьвер и стреляет. Руку его отталкивают в сторону, все трое обрушиваются на него — а он беспрерывно стреляет. Отец виснет на его правой руке, мать — на левой. Николай Татаров падает. Незнакомец подходит к умирающему, вкладывает ему в карман записку с надписью „Б.О.П.С.Р." (боевая организация партии социалистов-революционеров) и удаляется. Никто его не задерживает.

Так происходит убийство Татарова в передней родительского дома на глазах его родителей. Беспорядочной стрельбой убийцы была ранена и мать двумя пулями.

Об арестах 29 и 30 марта русская печать писала, как о „Мукдене русской революции". Под Мукденом русская армия в сражении с японцами была разбита. Задача, которую Трепов определил как первоочередную и важнейшую, была решена. Я должен был посвятить себя следующей важнейшей задаче по коренной реорганизации охранного отделения.

Глава 3

РОССИЯ НА ПЕРЕЛОМЕ

Обстановка, которую я застал в Петербурге в феврале 1905, может быть понята лишь в связи со всеми чрезвычайными событиями, окрасившими собою русскую жизнь за последнее время, и особенно в связи с убийством министра внутренних дел В.К.Плеве, которое явилось подлинно переломным моментом. Террористический акт 15 июля 1904 года лишил империю крупного вождя, человека, слишком самонадеянного, но сильного, властного, державшего в своих руках все нити внутренней политики. С ужасным концом Плеве начался процесс быстрого распада центральной власти в империи, который чем дальше, тем больше усиливался. Все свидетельствовало об охватившей центральную власть растерянности.

После Плеве, как известно, министром внутренних дел был назначен князь П.Д. Святополк-Мирский. С его назначением впервые, с неслыханным до тех пор задором, говорили повсюду о необходимости, как тогда выражались, „уничтожить средостение" между царем и народом и создать для этой цели народное представительство. Началась так называемая политическая „весна" с собраниями, банкетами, резолюциями и пр., которую революционные партии и либеральная интеллигенция широко использовали для противоправительственной пропаганды.

Эту „весну" я наблюдал еще в Харькове – и здесь видел, как вырастали такие собрания. Помню, в ноябре было устроено местным юридическим обществом публичное собрание. Члены общества, юристы, имели в виду обсудить текст телеграммы вновь назначенному министру внутренних дел. Но собралось множество посторонних людей. Из толпы послышались прокламации, раздались требования слова – и полились антиправительственные речи представителей революционных партий.

Точно такие же сцены происходили по всей России. Собрания устраивали и выносили резолюции с политическими требованиями все, кому только было не лень, – студенты, адвокаты, врачи, писатели и т.д. Устраивались полулегальные съезды – например съезд земцев, который принял резолюцию с требованием конституции. К

движению примкнули даже предводители дворянства. Состоявшееся в декабре совещание 23 губернских предводителей дворянства обратилось к министру внутренних дел с заявлением, в котором повторялись и пожелание созыва народных представителей, и требование отмены „административного произвола". И все эти призывы и демонстративные требования печатались даже в тогдашней легальной печати, возбуждая и без того возбужденные умы.

Где же было правительство? Каковы были его планы? Об этом было решительно неизвестно. Мы, его агенты на местах, не получали никаких указаний и обречены были оставаться почти молчаливыми свидетелями картины всеобщего развала. Особенно тяжелым положение становилось потому, что и в самом аппарате политической полиции далеко не все обстояло благополучно.

Начиная с 90-х годов в ней все более и более крупную роль играл Сергей Васильевич Зубатов. По внешности он напоминал собою русского интеллигента, да, собственно, такой белой вороной навсегда и остался в жандармской среде, хотя внутренне он, как редко кто, сроднился с ее деятельностью и наложил на нее глубокий отпечаток. Еще в молодости Зубатов оказывал услуги охранному отделению в качестве агента, а затем довольно скоро открыто поступил на службу, и в середине 90-х годов мы уже видим его во главе одного из самых крупных отделений -- Московского. Благодаря своим незаурядным дарованиям и любви к делу политического розыска, Зубатов скоро выдвинулся в ряд первых и наиболее влиятельных охранных деятелей.

Как известно, идеи Зубатова далеко не исчерпывались основательным техническим реформированием дела политического розыска, весьма несовершенно поставленного при его предшественниках, ни постановкой наружного наблюдения и „внутреннего освещения" (то есть посредством тайной агентуры) на более современной основе. Зубатов преследовал свои собственные политические цели, выработал свой политический план, которому он одно время завоевал сочувствие среди руководителей тогдашней внутренней политики в России: эта цель и этот план имели в виду оторвать широкую рабочую массу от революционной интеллигенции. Он стремился на почве защиты экономических нужд рабочей массы создать легальное движение, которое имело бы на своей стороне в качестве отца и друга – существующее правительство, тем самым лишая это движение всякой политической окраски, придавая ему лояльный характер. Он не останавливался даже перед возможностью отдельных конфликтов рабочих с предпринимателями, при которых правительство становилось на сторону рабочих. Его умственному взору рисовалась перспектива „социальной монархии", единения царя с рабочим народом – при котором революционная пропаганда теряла под собой всякую почву. Для этой цели Зубатов выдвинул идею создания лояльных союзов рабочих, возникших впоследствии, по его плану, в

Петербурге (где впоследствии они послужили источником возникновения движения 22/9 января 1905 г.), Москве, Одессе и других городах. Что касается его планов в отношении революционеров, то тут Зубатов, наряду с задачей перетягивания на сторону своих идей отдельных улавливаемых душ из революционной среды и вербовки их на роль тайных агентов, стремился наиболее непримиримых революционеров, не поддававшихся его увещеваниям, толкать влево, в радикализм, в террор, рассчитывая таким образом их скорее и легче обезвредить и ликвидировать.

Поскольку мне, по моей работе в Харьковском охранном отделении, приходилось сталкиваться с целями и планами Зубатова, должен сказать, что почти всегда я оказывал им противодействие или в крайнем случае ограничивался выражением своего несогласия с ними. Между нами произошло даже несколько конфликтов, наложивших естественно печать на наши взаимоотношения, которые в конце концов стали весьма недружелюбными.

Я помню, например, что еще в середине 90-х годов (кажется это было в 1894 году) я получил из Москвы, из охранного отделения, сообщение, что в Харьков приезжает на днях человек, который привезет с собой литературу недавно только возникшей организации „Народного Права". Ни этого человека, ни привезенной им нелегальной литературы Москва предлагала не трогать; надо было только установить наблюдение за той квартирой, где будет оставлена литература, и выяснить всех лиц, которые будут туда ходить. Я заведовал в это время розыском Харьковского Губернского Жандармского Управления, и потому вести дело, о котором сообщила Москва, пришлось мне. Действительно, скоро приехал человек с литературой, – это оказался секретный агент полиции Михаил Гуревич, впоследствии открыто перешедший на полицейскую службу и игравший большую роль в Департаменте полиции. В двух корзинах оказались у него программа „Народного Права", брошюра „Насущный вопрос" и много заграничных изданий на украинском языке. Гуревича я, конечно, арестовать не мог. Но как только корзины с литературой были доставлены на квартиру, мы произвели в ней обыск, – и литературу, во избежание ее распространения (ибо распространять эту антиправительственную литературу я считал преступным и недопустимым), мы конфисковали. Этот мой шаг вызвал большое недовольство у Зубатова в Москве. Там пользовались признанием иные методы охранной работы.

Следующий мой конфликт уже непосредственно с Зубатовым относился к 1901-02-му году – и на нем стоит несколько остановиться. Зимою этого года при Департаменте Полиции, по настоянию Зубатова, было созвано совещание начальников крупнейших губернских жандармских управлений. Целью совещания было обсуждение зубатовского плана реорганизации политического розыска в империи, а также плана о создании рабочих обществ. Присутствовали

все начальники крупнейших жандармских управлений. Из Харькова был вызван и начальник Жандармского Управления, и я – его помощник. Мое приглашение, по-видимому, объясняется тем, что я незадолго до того решительно возражал против осуществления в Харькове плана Зубатова о создании рабочих союзов. Работами совещания руководил тогдашний директор Департамента полиции, С.Э. Зволянский.

Об идее Зубатова в отношении создания рабочих обществ я упоминал уже выше. Что касается другого вопроса – о реорганизации органов политического розыска, то в этом отношении Зубатов настаивал на образовании в крупнейших пунктах особых охранных отделений, совершенно не подчиненных жандармским управлениям. Раньше эти последние концентрировали в себе все функции: наблюдение, арест, дознание, расследование после ареста и пр. По плану Зубатова, наиболее ответственная часть этой работы – все дело политического розыска до момента ареста революционеров включительно – изымалась из ведения жандармского управления под тем предлогом, что и люди его, и методы работы консервативные, отсталые, не идущие в ногу с требованиями времени. Весь этот розыск передавался в ведение охранных отделений, руководить которыми должны были молодые жандармские офицеры из числа учеников Зубатова, согласно его теориям и директивам.

На совещании оказалось, что большинство являются сторонниками Зубатова. Только двое были против плана о рабочих обществах: Зволянский и я. Я говорил, что этот способ привлечения рабочих в легальные союзы представляет собой игру с огнем. Такие союзы будут неизбежно возбуждать массы и играть на руку революционерам. Я также выступил против мысли о создании охранных отделений, выдвигая среди прочих и такой довод: ведь может получиться, что, при создающемся двуначалии, во главе охранного отделения будет стоять молодой ротмистр, который будет иметь право самостоятельного доклада губернатору. Доклад этот может разойтись с докладом начальника губернского жандармского управления – генерала. В результате такого порядка может только пострадать воинская дисциплина. Я не возражал против того, чтобы непосредственно-розыскное дело находилось в руках у молодежи, – но она должна быть строго подчинена и действовать под контролем старых и опытных начальников Жандармских Управлений.

Однако в этих вопросах я оказался почти одиночкой: кроме меня в том же смысле высказался еще только Зволянский. Большинство было за план Зубатова. Даже киевский жандармский генерал Новицкий, который впоследствии в своих воспоминаниях ругательски ругал Зубатова, холопствовал перед ним на этом совещании, говоря по моему адресу:

– Какой-то, мол, жандармский ротмистр позволяет себе учить нас, стариков, дисциплине...

Сопротивление Зволянского повело к тому, что на этот раз планы Зубатова не получили полного осуществления. Но победа его – правда, кратковременная – была совсем близка: в апреле 1902 года после убийства министра внутренних дел Сипягина на этот пост был назначен В.К. Плеве, который провел коренные реформы в Департаменте Полиции, на время отдав его фактически в полную власть Зубатова.

С В.К. Плеве мне пришлось познакомиться вскоре после его назначения на пост министра.

В том году на юге произошли массовые крестьянские волнения, особенно встревожившие правительство потому, что они были первыми волнениями такого рода. Только что назначенный министром, Плеве лично отправился в затронутые крестьянскими беспорядками Харьковскую, Полтавскую и Черниговскую губернии, чтобы на месте ознакомиться с характером и причинами этих волнений. По дороге Плеве виделся в Москве с Зубатовым, который сделал ему подробный доклад о революционном движении и своем плане борьбы с ним. Плеве был одушевлен тогда одной идеей: никакой революции в стране нет. Все это выдумки интеллигентов. Широкие массы рабочих и крестьян глубоко монархичны. Надо выловить агитаторов и без колебания расправиться с революционерами. Естественно поэтому, что идеи Зубатова ему пришлись по сердцу.

Очевидно, Зубатов говорил с Плеве и обо мне, – только этим я могу объяснить тот прием, который я встретил у Плеве, когда явился к нему в Харькове с докладом.

– Вы слишком много власти себе берете, – резко начал он. – Вы не выполняете предписаний Департамента полиции.

– Мне, ваше превосходительство, – ответил я, – не известны такие случаи. Мне случалось не выполнять предписания Московского Охранного отделения, но ведь я не подчинен Москве.

– А история с транспортом?

Я подробно объяснил, как именно было дело, и прибавил:

– По долгу присяги, ваше превосходительство, я считал себя не вправе допустить распространение революционной литературы.

Наш разговор затянулся, перешел на общие вопросы зубатовской политики в охранном отделении. Я не скрывал своего отношения к ней.

На обратном пути из поездки в Полтаву и Чернигов Плеве снова вызвал меня, для продолжения разговора. На этот раз Плеве подробно расспрашивал меня о том, как я мыслю себе борьбу с революционным движением и, я помню, в заключение он сказал мне в свойственом ему решительном и властном тоне:

– Вы – человек способный. Я вас здесь не оставлю. Но помните, – прибавил он, – я умею награждать, но умею и карать. Мне нужно, чтобы люди, которых я ставлю на ответственные посты, беспрекословно подчинялись распоряжениям начальства.

После этой беседы я ждал нового назначения, – из слов Плеве я понял, что он имел меня в виду для должности начальника Охранного отделения в Петербурге. Но месяц проходил за месяцем – а я не получал никаких известий. Вскоре причина выяснилась: Зубатов переведен из Москвы в Департамент полиции начальником особого отдела и таким образом стал фактически руководителем всего розыскного дела в Империи. При нем ни на какое повышение я рассчитывать, конечно, не мог.

В начале 1903 года мне пришлось побывать в Петербурге. Директором Департамента полиции в это время был А.А. Лопухин. С 1900 по 1902 он исполнял должность прокурора харьковской Судебной Палаты, и мне приходилось с ним тогда часто встречаться. Во время того приезда Плеве в Харьков, о котором я рассказал выше, Лопухин обратил на себя внимание Плеве своими планами реорганизации полиции и всего дела борьбы с революционным движением. Именно этому своему плану Лопухин был обязан назначением на пост директора Департамента Полиции. К сожалению, в Петербурге он целиком подпал под влияние Зубатова.

В этот приезд в Департаменте Полиции я познакомился с характерной фигурой того времени, правой рукой Зубатова – Евстратием Павловичем Медниковым. Он пользовался большим влиянием на Зубатова, и последний при переводе в Петербург захватил его с собой. Колоритная это была фигура. Бывший унтер из торговцев, малограмотный, но с природной ярославской смекалкой, пронырливый, хитрый.

В этот мой приезд в очередной беседе, в которой участвовали Зубатов и Медников, последний мне сказал:

– Вы ничего не делаете там. Ни одной тайной типографии не открыли. Возьмите пример с соседней, Екатеринославской губернии: там ротмистр Кременецкий каждый год 3-4 типографии арестовывает.

Меня это заявление прямо взорвало. Для нас не было секретом, что Кременецкий сам через своих агентов устраивал эти нелегальные типографии, давая для них шрифт, деньги и прочее.

И я ответил:

– Я не арестовываю типографии потому, что у нас в Харькове их нет. А самому их ставить, как делает Кременецкий, и получать награды потом – я не намерен...

Взволнованный этим разговором, я пошел объясняться с Лопухиным.

– Совершенно недопустим, – говорил я, пользуясь правом старого знакомства, – такой метод наград. Ведь выходит, что Департамент награждает тех деятелей политического розыска, которые не могут воспрепятствовать росту революционного движения в их районе. Надо, наоборот, награждать тех, кто – не дает развиваться этому движению.

Я был очень разгорячен, а Лопухин явно смущен.

Возможно, что не без влияния этого разговора я получил через некоторое время чин подполковника. Я понял, что меня успокаивают.

К характеристике Лопухина я хочу здесь отметить, что, в отличие от обычного типа прокуроров, он всегда отличался особой предупредительностью по отношению к Охранному отделению. Мне не приходилось встречать ни одного прокурора, который с такой готовностью шел навстречу интересам политического розыска, как он. Обычно прокуроры ловили нас на мелочных, формальных нарушениях закона и мешали нашей работе, порой открыто защищая интересы арестованного.

Карьера Зубатова, который пользовался большим влиянием при Плеве, как известно, закончилась еще при жизне Плеве, и довольно-таки неожиданно. По официальной версии, причина его падения заключалась в захваченных его письмах к агенту Шаевичу, который в Одессе так руководил зубатовской рабочей организацией, что летом 1903 года довел дело до всеобщей стачки. Неофициально, однако, настойчиво утверждали, что Зубатов сломал себе шею на другом: он якобы пытался вести большую политику и вмешивался в борьбу между Витте и Плеве. Кто-то раскрыл эту игру перед Плеве; последний его уволил и немедленно удалил из Петербурга с воспрещением жить в столицах.

После удаления Зубатова разруха в Департаменте полиции достигла своей высшей точки. Я не соглашался с политикой Плеве, но у него все же была какая-то политика. Он был крупный человек и знал, куда шел и чего хотел. Его преемники никакой своей политики не имели — и плыли по воле волн, принимая решения от случая к случаю. За короткое время своего пребывания в Департаменте полиции Зубатов все ответственные посты заполнил своими людьми, воспитанными на его идеях, усвоившими его методы работы. Многие из них были с авантюристической жилкой в характере. Зубатов умел держать их в руках — и хотя их авантюризм и тогда давал себя знать, но все же они не выходили из известных границ. Когда Зубатова удалили, „зубатовский" аппарат остался, но без своего создателя и руководителя. Политика игры с рабочими обществами, несмотря на тот крах, который она испытала в дни южной стачки 1908 года, не была в корне ликвидирована. „Зубатовские общества" продолжали еще существовать — хотя было ясно, что если эта политика и при Зубатове приводила к печальным результатам, то без Зубатова она должна привести к прямой катастрофе.

Эта катстрофа и не замедлила придти — в виде событий 9/22 января 1905 года.

Глава 4

ГЕРОЙ КРАСНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ

В первые месяцы моей работы в Петербурге весь официальный мир только и говорил, что о событиях „красного воскресенья" и о герое этого дня, священнике Гапоне, чей образ постепенно принимал буквально мифические размеры. Даже страшная смерть Сергея Александровича не ослабила этого интереса. Особенно много разговоров было в Департаменте полиции. У меня все время было впечатление, что его руководители чувствовали себя ответственными за эти события. И они действительно были ответственны, ибо рабочее общество, которое руководило январской стачкой, стояло под покровительством Департамента полиции, а Гапон был в связи с Зубатовым и действовал по его указаниям.

Я не историк, да и текущих дел у меня всегда было слишком много, чтобы иметь время на подробные расспросы о прошлом. Но Гапон был не только прошлым. Он в это время жил за границей и печатал там свои воззвания, производившие огромное впечатление на рабочих. Поэтому, еще не предполагая, что судьба скоро сведет меня с ним лично, я стремился точнее и подробнее узнать о Гапоне, об его личности и об его роли в движении. К сожалению, многое теперь забылось: узнанное из рассказов других вообще всегда легче забывается, чем то, в чем сам принимал участие. И все же фигура Гапона и его роль для меня вполне ясны и теперь.

Сын священника, Гапон был родом с юга, кажется, из Полтавы. Он окончил духовную семинарию, а затем – и духовную академию в Петербурге. Во время пребывания в этой последней он выделился своим даром слова и не только легко получил место священника в одной из петербургских церквей, но и завязал широкие знакомства в петербургском обществе. Кто его свел с Зубатовым, я не знаю, но хорошо помню, что в Департаменте все его называли учеником и ставленником Зубатова. Последний в это время только что перебрался в Петербург, был в периоде расцвета своего влияния на Плеве и горел желанием поскорее проделать в Петербурге свой опыт создания покровительствуемого полицией рабочего общества. Молодой священник с талантом проповедника и широкими связями в пе-

тербургском обществе как нельзя лучше подходил для роли исполнителя планов Зубатова. По указаниям последнего он повел свою агитацию, по его же указаниям и при его материальной поддержке он основал рабочее общество. Несомненно, результаты этого опыта были бы печальны и в том случае, если бы Зубатов имел возможность все время руководить Гапоном. Но положение во много ухудшилось, когда вскоре после открытия общества Зубатов был удален от дел политической полиции. С Гапоном теперь поддерживал сношения Медников, который, конечно, никакого влияния на Гапона иметь не мог. Помнится, мне говорили, что несколько раз с Гапоном виделся и сам директор Департамента полиции А.А. Лопухин – но эти свидания были отрывочны и большого значения иметь не могли. В итоге оказалось, что поставленный руководителем политической полиции на такое ответственное место Гапон почти с самого начала был предоставлен самому себе, без опытного руководителя и контролера.

Результаты не замедлили сказаться.

Созданное Зубатовым и Гапоном рабочее общество нашло в Петербурге хорошую почву. Число его членов быстро росло и к концу 1904 года доходило, помнится, до 6-8 тысяч человек. Но о контроле полиции за деятельностью общества давно уже не было и речи. Это было обычное общество с настоящими рабочими во главе. В их среде и Гапон совсем забыл о тех мыслях, которыми руководствовался в начале. Достаточно было небольшого толчка, чтобы это изменившееся положение выявилось. За таким толчком дело не стало.

Из-за какого-то маленького столкновения в декабре 1904 года директор Путиловского завода – наиболее крупного тогда завода в Петербурге – уволил 4 рабочих. Все они были членами руководимого Гапоном рабочего общества. Это общество отправило к директору делегацию, требуя обратного приема уволенных. Директор отказался. После долгих переговоров собрание рабочих Путиловского завода – членов гапоновского общества, решило с 3/16 января 1905 года начать забастовку. Был выставлен целый ряд требований: вспомнили все свои обиды. День ото дня забастовка расширялась – скоро стоял весь Петербург. Забастовали типографии – и не выходила ни одна из газет. Газовый завод и электрическая станция присоединились к стачке – и Петербург погрузился в темноту. Полуторамиллионное население Петербурга шло навстречу событиям – без газет, без воды, без освещения.

Во главе стачки стоял Гапон. Каждый день он выступал на рабочих собраниях, устраиваемых в разных концах города. Он был талантливым демагогом и умел влиять на серые массы слушателей. Его слушали и с напряженным вниманием, и с любовью. Сотни тысяч верили ему и готовы были пойти за ним, куда бы он их ни повел. И он звал их идти к Царю. Вас несправедливо притесняют, – говорил он, – и власть бессильна вас защитить. Только один Царь

может вам помочь: он не имеет других интересов, кроме блага народа. Он стоит выше всех — и только он своим высоким словом может удовлетворить наши требования. В этих его речах слышались отзвуки старых теорий Зубатова — но какое содержание стали теперь в них вкладывать? Движением с самого начала воспользовались революционеры для своей агитации. Им легко удавалось проводить на собраниях свои требования. В результате, в петицию, которую собирались подать Царю, были включены революционные политические требования — и рабочая организация, созданная Зубатовым для того, чтобы отвлечь рабочих от политики, вела такую широкую чисто политическую агитацию, какой до того вести никто не мог и подумать.

Это движение застало полицию врасплох. И в Департаменте, и в градоначальстве все были растеряны. Гапона считали своим, а потому вначале не придавали забастовке большого значения. Когда потом спохватились, было уже поздно. Я очень хотел узнать, пытался ли кто-либо из ответственных руководителей Департамента повидаться с Гапоном, — но ничего точного узнать не смог. Знаю только, что уже после начала забастовки с Гапоном виделся петербургский градоначальник Фулон. Это был, говорят, очень честный человек и хороший солдат, но в делах политической полиции ничего не понимал. С Гапоном он был давно знаком и доверял ему. То, что Гапон теперь делал, его сильно смущало. Гапон долго и подробно рассказывал, убеждая, что ни он, ни рабочие никаких революционных целей не ставят. После этих рассказов Фулон стал понимать еще меньше.

— Я человек военный, — заявил он Гапону под конец разговора, — и ничего не понимаю в политике. Мне про вас сказали, что вы готовите революцию. Вы говорите совсем иное. Кто прав, я не знаю. Поклянитесь мне на священном евангелии, что вы не идете против Царя, — и я вам поверю.

Гапон поклялся... Фулон поверил ему — и потом, конечно, жестоко пострадал. Но винить его, по правде, трудно: он был сравнительно мелкой пешкой, — виноваты были те, кто начинали зубатовскую игру с огнем.

Агитация Гапона имела огромный успех. Сотни тысяч были охвачены одной мыслью: „К Царю".

На воскресенье 9/22 января назначено было шествие всех рабочих к Зимнему Дворцу — для того, чтобы вручить Царю петицию, покрытую десятками тысяч подписей. Полиция знала обо всех этих приготовлениях. Для власти было два прямых пути: или пытаться раздавить движение, арестовав его вождей и ясно объявив всем, что шествие будет разогнано силой; или убедить Царя выйти к рабочей депутации для того, чтобы попытаться по-мирному успокоить движение. Власть не пошла этими путями. До позднего вечера в окружении Государя не знали, как поступить. Мне передавали, что Госу-

дарь хотел выйти к рабочим – но этому решительно воспротивились его родственники во главе с великим князем Владимиром Александровичем. По их настоянию Царь не поехал в Петербург из Царского Села, предоставив распоряжаться великому князю Владимиру Александровичу, который тогда был командующим войсками Петербургского военного округа. Именно Владимир Александрович руководил действиями войск в день „красного воскресенья". Полиция о планах военных властей не была осведомлена. Поэтому-то и могли иметь место такие факты, как убийство войсками нескольких полицейских чиновников, которые сопровождали толпы рабочих.

Поздно в ночь на воскресенье войска заняли назначенные им позиции на улицах.

Стоял жестокий, морозный, петербургский январский день. Нева и ее притоки были покрыты толстым слоем льда. Повсюду сновали патрули. Солдаты, как на бивуаках, грелись у разложенных на улицах костров. Офицеры в походном обмундировании. Наиболее плотно войска были сосредоточены у Зимнего Дворца, в пунктах, ведущих из рабочих кварталов в центр города, и в рабочих районах. Фабрики и предприятия охранялись особыми караулами. Артиллерия была выведена в полной боевой готовности.

И тем не менее, никто не верил, что войска могут стрелять. С раннего утра 22-го января потянулись рабочие на сборные пункты. И густыми толпами, в каждой из которой числилось по несколько тысяч человек, двинулись они в 10 часов утра из рабочих кварталов в город.

С портретом Царя перед собой шли рабочие массы Петербурга к Царю. Во главе одного из многочисленных потоков шел священник Гапон. Он поднял крест перед собой – словно вел этих людей в землю обетованную. За ним следовала верующая паства.

В этой толпе, которая шла вслед за Гапоном, было около 3000 человек, старых и молодых, мужчин, женщин и детей. Впереди шествия, чтобы очистить ему путь, верховые-полицейские; под командой одного из полицейских офицеров шел также наряд пешей полиции. Гапон шел впереди. Слева от него шел священник Васильев с большим деревянным распятием в руках; справа – социалист-революционер Петр Рутенберг. За ним следовала группа рабочих с портретами царя, хоругвями, распятием и образами.

Около 11 часов гапоновский отряд достиг речки Таракановки. Мост, находившийся в нескольких километрах от Зимнего Дворца, из пригородов в центр города, был занят солдатами. Лишь только голове отряда удалось вступить на мост, показался кавалерийский разъезд. Толпа разомкнулась и пропустила его, для того, чтобы затем сомкнуться вновь и идти дальше. Тотчас же рота, занимавшая мост, направила свои ружья на толпу. Прозвучал рожок горниста, затем воздух прорезал сухой, неравномерный залп. Очевидно, пре-

дупреждающего рожка не поняли, и вот уже лежали убитые и раненые, а многие еще не понимали, что именно случилось.

Считая, что произошло недоразумение, полицейский офицер в отчаянии обратился к военным:

– Что вы делаете? Почему вы стреляете в религиозную процессию?

В это время раздался второй залп, и полицейский офицер упал ничком. За ним – вся толпа, стоявшая у моста. Было неизвестно, кто убит, кто ранен, кто бросился на землю, спасаясь от пуль. Стояли только несколько человек, несущих образа.

Уже при сигнальном рожке горниста, перед первым ружейным залпом Рутенберг схватил за плечи Гапона и бросил его наземь: опытный революционер, он понимал значение сигнала. Благодаря этому Гапон избежал смертельной опасности. Священник Васильев, стоявший подле него, был убит.

После третьего залпа Рутенберг спросил:

– Ты жив?

Гапон прошептал:

– Жив.

Оба поднялись и побежали. Во дворе какого-то дома Гапон снял свою длинную священническую рясу. Рутенберг взял у кого-то из бегущих пальто, набросил его на плечи Гапона, вынул предусмотрительно захваченные с собой ножницы и срезал Гапону его длинные волосы и бороду. Затем окольными путями он повел Гаопна на квартиру Максима Горького.

Сходные сцены, как у Таракановки, разыгрались и в других районах города. Все процессии были рассеяны. Рабочие частью бежали назад в свои районы, частью, обходя мосты, занятые войсками, небольшими группами пробирались к Зимнему Дворцу.

Перед дворцом, в Александровском парке, все же собралась большая толпа – к назначенному заранее времени, к двум часам дня. Здесь разыгрался последний акт трагедии. Толпе удалось установить контакт с солдатами; в других – солдаты молча слушали озлобленные или насмешливые речи. Командующий отрядом наблюдал эту картину в течении некоторого времени, затем он повторно потребовал от демонстрантов разойтись и очистить площадь. Когда его не послушали, он отдал приказание стрелять. Шесть залпов рассеяли основную массу собравшихся. Остальных разогнали казаки. Убитые и раненные были и здесь.

Еще поздним вечером 22-го января и затем в течении трех последующих дней разъезжала кавалерия по улицам Петербурга. Официальное сообщение устанавливало число жертв в 130 убитых и около 300 раненых. Но в обществе утверждали, что убитых было около 1000 человек, раненых несколько тысяч и в течении долгих дней в больничных погребах валялись трупы. Полиция отдала распоряжение не отдавать трупов родственникам. Публичные похороны не

были разрешены. В полной тайне, ночью, убитые были преданы погребению. О священнике Гапоне ничего не было известно в течении довольно продолжительного времени. Затем он вынырнул за границей. О своих переживаниях в день „красного воскресенья" он впоследствии охотно рассказывал, не упуская прибавить к своему рассказу:

— Какой хитрец этот Рутенберг — ножницы захватил с собой!

Хитрец Рутенберг был потом тем человеком, кто выдал Гапона его убийцам.

Глава 5

РЕВОЛЮЦИЯ НАРАСТАЕТ

Среди лиц, в руки которых было отдано направление всей внутренней политики империи, потрясенной до основания событиями 9/22 января, на первом месте надо назвать Д.Ф. Трепова. Действительно, по своему положению генерал-губернатора Петербурга, к тому же пользовавшийся особым расположением Государя, имевший личный доклад и пр., Трепов был в это время центральной фигурой, к которой стягивались все нити и в руках которой была вся власть. Красивой, внушительной наружности, с уверенным взглядом, решительными жестами, твердой походкой, Трепов производил впечатление очень самостоятельного и смелого человека. На самом деле, это впечатление было совершенно ложным: смелости и самостоятельности у него не было никакой. А что касается убеждений, то за ним их просто не водилось. Внутренно крайне нерешительный, неустойчивый, он легко попадал под чужое влияние. Что, действительно, у него было — это личная преданность Государю. Не поколебавшись, он мог отдать свою жизнь за Царя и монархию. Но он не понимал, что нужно делать для защиты их.

После январских дней Трепов находился под исключительным влиянием П.И. Рачковского, который был его политическим советником по всем делам. Близость их была так велика, что позднее, когда Трепов к лету 1905 года выбрался из Зимнего Дворца и поселился на Морской, Рачковский жил с ним на одной квартире. Кто их свел, как они познакомились, — для меня осталось неизвестным. Мне в моей работе пришлось считаться только с фактом их близости.

Рачковский еще в конце царствования Александра II, а именно в 1879 году, официально служил по политической полиции — в качестве секретного агента Третьего отделения собственной Его Величества канцелярии. С 1884 года в течении долгих лет он занимал пост руководителя русской политической полиции за границей. Имея хорошие связи с политическими деятелями, как и с биржевыми дельцами во Франции, Рачковский не забывал своих личных дел и сумел составить игрой на бирже недурное состояние. В то же время он играл роль и в общей политике — в частности он немало пора-

ботал для подготовки франко-русского союза. Вмешиваясь в разные дворцовые интриги, Рачковский потерпел большую неудачу во время пребывания у власти Плеве и в 1902 году был даже уволен от должности. Но с приходом к власти Трепова Рачковский был вновь привлечен для руководства полицией. После убийства великого князя Сергея Александровича, Рачковский был назначен чиновником министерства внутренних дел с возложением на него специальной задачи по руководству деятельностью политической полиции в районе Петербурга.

В сущности, Рачковский должен был исполнять функции политического советника при мне в Охранном отделении. Так вначале и намечалась наша совместная работа. Но после взрыва в гостинице „Бристоль" и ареста всей террористической группы Швейцера, Рачковский стал понемногу отдаляться от дел Охранного отделения и все меньше ими интересовался. Отчасти это происходило и вследствие моего отношения к нему, так как я довольно скоро убедился, что у Рачковского нет ни розыскных способностей, ни политического чутья. Если верно, что он составил себе состояние в Париже игрой на бирже, то эти же приемы он пытался вносить и в деятельность политической полиции. Все сводилось у него к одному – к деньгам: нужно купить того-то или того-то; нужно дать тому-то или тому-то. Иногда пустить деньгами пыль в глаза через агента... Он, по-видимому, был убежден, что за деньги можно купить всех и каждого... Я сначала приглядывался к нему с недоумением. Впервые я увидел его в декабре 1901 на том совещании начальников жандармских управлений, о котором я рассказывал выше. Там его показывали участникам совещания, как знаменитость. Все говорили о нем: „Светило". Он сам отмалчивался, говорил мало. Но теперь, присмотревшись к нему, я вижу, что в нем ничего нет. Дутая знаменитость. И я не жалел об отходе его от дел охранного отделения. Впрочем, у Рачковского были и свои мотивы для этого отхода: благодаря близости к Трепову и доступу к другим влиятельным политическим фигурам того времени, он уходил в большую политику. Но об этом речь будет впереди.

Почти каждый день, во всяком случае обязательно 4-5 раз в неделю, я являлся с докладом к Трепову. На этих моих докладах присутствовал Рачковский. На них же принимались решения о производстве больших арестов – и здесь в приемной у Трепова обычно сказывалось влияние Рачковского. У меня в охранном отделении, куда Рачковский не ходил, влияние его абсолютно не чувствовалось, – но здесь он был свой. Эти совещания отражали черты этих двух людей: Трепова и Рачковского. Их указания отличались неопределенностью, сбивчивостью и противоречивостью. В атмосфере, существовавшей у нас в 1905 году, эти указания приводили почти к параличу власти.

1905 год, как известно, характеризовался обилием организа-

ций и объединений, возникавших и плодившихся буквально, как грибы после дождя. Образовывались не только различные рабочие союзы – но все лица интеллигентных профессий спешили создать свои объединения. Мы имели союз адвокатов, врачей, инженеров, профессоров, учителей и даже чиновников. И все эти отдельные союзы объединялись в одном центральном органе, в союзе союзов, который начинал играть все большую политическую роль и возглавлять антиправительственное движение среди интеллигенции.

Однажды мне сообщили, что на квартире настоятеля Казанского собора протоиерея Орнатского состоится собрание для основания союза священников, который, предполагалось, войдет и в союз союзов. Ввиду особого положения Казанского собора в Петербурге, и принимая во внимание, что настоятель его являлся одним из наиболее влиятельных священников немонашеского звания в столице, – я не знал, как надобно тут поступить, и решил снестись с Победоносцевым, обер-прокурором Св. Синода. К.П. Победоносцев был в течение всего царствования Александра III наиболее влиятельным политическим деятелем определенно ультраконсервативного направления. Его влияние теперь было уже далеко не то, но предстоящее собрание священников прежде всего относилось к его ведомству, которое руководило делами православной церкви. И вот я ему позвонил по телефону. Лично я мало встречал Победоносцева. Будучи проездом в Харькове, он произвел на меня нехорошее впечатление своей сухостью и черствостью...

Победоносцев сам подошел к телефону и своим сухим, скрипучим голосом коротко заявил мне:

– Пошлите полицию и казаков. Пусть от моего имени нагайками разгонят этих попов...

Я возразил, указывая, что такого рода действие вызвало бы настоящую бурю в прессе. Нам и без того сейчас достается. И я рекомендовал послать синодского чиновника, который мирно распустит собрание. Победоносцев настаивал. Но ему пришлось все же послать своего чиновника на квартиру Орнатского.

Приблизительно к этому же времени я имел случай еще раз говорить с Победоносцевым.

Он обратился к Трепову с просьбой, чтобы мерами полиции было закрыто Религиозно-Философское общество, собрания которого, по его словам, разлагают церковь. Трепов поручил мне выяснить это дело и дать по нем заключение. Должен сознаться, что у меня тогда были разные другие тревоги и заботы, и Религиозно-Философское общество с его собраниями меня мало интересовало. Я слышал, что там собираются профессора, писатели, священники, обсуждают разные религиозные вопросы и церковные дела. Насколько их деятельность опасна с точки зрения православной церкви, я судить не мог, а потому решил обратиться к митрополиту Антонию. Условились с секретарем митрополита по телефону о времени моего

прихода. И вот в покоях Александро-Невской Лавры я сообщил митрополиту Антонию, что обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев просит, чтобы закрыли Религиозно-Философское общество.

Митрополит Антоний заявил мне:

— Я осведомлен об обществе и его деятельности. Я знаю, что там ведутся диспуты между учеными, профессорами, либеральными священниками, интересующимися церковной жизнью. Там обсуждаются также и некоторые канонические вопросы, по которым еще нет окончательных решений. Участников собраний интересует главным образом вопрос о восстановлении патриаршества в России. Читаются доклады об отделении церкви от государства. Во всяком случае, ничего преступного в этой деятельности я не вижу. Не понимаю, почему Константин Петрович требует закрытия общества...

Мнение митрополита Антония было для меня решающим. Я согласился с ним, что закрывать Религиозно-Философское общество незачем. Об этом я сообщил Трепову, который поручил мне передать Победоносцеву, чтобы последний, если настаивает на своем, пусть проведет закрытие общества собственными мероприятиями, по его ведомству. Но с точки зрения Охранного отделения, в интересах порядка и спокойствия в столице, такое закрытие не вызывается ни необходимостью, ни целесообразностью. Наоборот, только вред может быть нанесен. Победоносцев был очень недоволен.

Но если союз священников нас мало беспокоил, то другие возникающие во множестве союзы вызывали самые худшие опасения. Я упоминал уже, что союзное движение перебросилось от свободных профессий к чиновникам. Даже чиновники Сената и те образовали союз. И повсюду шло обсуждение политических вопросов, выработка программ, провозглашение лозунгов. Хорошо, если союзы ограничивались требованием конституции. Но многие выдвигали неприкрытые республиканские лозунги. А центральный Союз Союзов во главе со своим Советом как бы превратился в своеобразное правительство. Власть, построенная на основе объединения людей всех профессий.

Неоднократно я ставил перед Треповым вопрос: не нужно ли, не пора ли предпринять решительные меры? Конечно, союзы — не настоящие революционные партии, но они открыто выступают против правительства. И в известных условиях эти объединения могут оказаться еще более опасны, чем настоящие революционеры. Я настаивал на ликвидации союзов.

Рачковский высказал свои всегдашние сомнения: слишком много шума вызовут эти мероприятия. Но в конце концов и он, и Трепов согласились с тем, что центральный Союз Союзов надо арестовать. Трепов ставил только условием, чтобы не было ошибки в двух отношениях: 1) чтобы были арестованы только руководители Союза Союзов, а не лица сторонние, не имеющие к делу отношения, и 2) чтобы были собраны доказательства преступной деятельности

этих руководителей. Через несколько дней я явился к нему с повесткой предстоящего заседания Союза Союзов, которая не оставляла места для сомнений о том, что это будет заседание именно центрального совета Союза Союзов, и что на нем будут приняты решения революционного характера. Тогда Трепов дал свое согласие на производство арестов.

Во время этого заседания (это было летом 1905 года) центральный совет Союза Союзов был арестован. Там было 10-12 человек и документы, вполне устанавливающие их революционную деятельность. Их доставили в охранное отделение. Все арестованные были люди с известными именами, некоторые с крупным чиновничьим положением. Был, помнится, даже тайный советник (кажется, от союза горных инженеров). Это привело в смущение тех чиновников охранного отделения, которые должны были охранять арестованных. Документы, захваченные при аресте, были рассмотрены прокурорским надзором, после чего прокурор судебной палаты доложил Трепову, что имеется вполне достаточно данных для привлечения арестованных к судебной ответственности. Тем не менее, ввиду поднявшегося в печати шума, Трепов изменил свое решение и приказал всех арестованных освободить.

– Предание их суду, – говорил он, – до крайности обострит наши отношения с обществом.

Пришлось делать приказ об освобождении...

После инцидента с Союзом Союзов нам нельзя было уже заняться преследованием деятельности отдельных мелких союзов. Пришлось на многое и многое закрывать глаза. Но все же летом 1905 года мы еще могли останавливать массовые собрания и не допускать устройства таких собраний в общественных помещениях. Однако к осени картина получилась иная, и мудрая политика Трепова и Рачковского привела к легализации и массовых собраний. Мне не совсем понятно, по каким соображениям, но Рачковский явно повел кампанию за уступки. На словах он стоял за монархию, за самодержавие, а на практике поддерживал предложения в пользу реформ. Одной из этих реформ явился проект об университетской автономии. Ход мыслей его, примерно, был такой. Университетская автономия – одно из главных требований интеллигенции. Если дать автономию – то удастся успокоить, удовлетворить эту интеллигенцию. Конечно, отрицательная сторона заключается в том, что при автономии в университете начнутся сходки и митинги. Но в сущности это даже хорошо. Ибо многие студенты тотчас отойдут от революции, и полиции будет легко повести борьбу с революционным течением. Так думал Рачковский, не раз развивая свой план.

Я возражал против плана:

– Наоборот. Сходки в университетах создадут открытые аудитории для революционеров, помогут им завоевать всю студенческую массу. Если сегодня придет на сходку пятьдесят человек, то на сле-

дующий день уже их будет пятьсот, и это будет сплошным митингом.

Рачковский на это отвечал:

— Ну, вы — известный пессимист. Вы видите все в мрачном свете.

Когда в августе 1905 года университетская автономия была объявлена, Трепов отдал мне распоряжение внимательно следить за университетом и докладывать ему, как происходят сходки, каково настроение и прочее. Я знал, что в революционных кругах идут споры о том, как принять автономию. Дело в том, что в это время революционными партиями проводилась университетская забастовка. Если эта забастовка не будет прекращена, то студенчество не должно будет посещать университет. И я очень надеялся на то, что революционные партии забастовку не прекратят. К сожалению, вышло совершенно иначе. После больших внутренних споров было решено прекратить забастовку, и была принята резолюция, призывающая студентов открыть двери университета для революционного пролетариата.

Тут началась совершенно невероятная кутерьма. Мои агенты докладывали мне, что в университете, в технологическом, лесном и прочих институтах, как и в других высших учебных заведениях, беспрерывно следуют митинг за митингом. Все аудитории, все залы переполнены народом, слушающим революционных ораторов. В актовых залах шли общие, политические, массовые митинги. В отдельных аудиториях происходили собрания по профессиям. Отведены отдельные аудитории для чиновников, солдат, офицеров, полиции и даже для агентов охраны. И повсюду плакаты: „здесь собрание кухарок", „здесь собрание сапожников", „здесь собрание портных" и прочии и прочии. С полудня до поздней ночи не прекращалось митингованье. Одна толпа сменяла другую. Рабочие, служащие, женщины, подростки, студенты, курсистки — все это не выходило из зданий высших учебных заведений, все это волновалось, шумело, слушало и приветствовало революционные речи, аплодировало самым радикальным антиправительственным резолюциям. Представители революционных партий еще недавно решались выступать только в гриме, в очках, скрывались после произнесения речи. Сейчас они осмелели, открыто говорили и действовали. И повсюду раздавались и расклеивались революционные листки. В отдельных аудиториях складывались объединения по профессиям. В общих залах шли, все разрастаясь, политические митинги, формулируя перед сменяющимися толпами революционные программы и лозунги. У аудитории, отведенной под собрание городовых, висел плакат: „Товарищи городовые, собирайтесь поговорить о своих нуждах". И мои агенты видели, как некоторые городовые в форме шли в эту аудиторию...

Согласно инструкции Рачковского, я приказал своим агентам

выяснять на митингах личность ораторов. Но это далеко не всегда удавалось, так как некоторые ораторы выступали замаскированными, и их постоянно охраняли. Поэтому я вскоре отдал моим агентам распоряжение перестать ходить на митинги.

Трепову я продолжал рассказывать, что происходит в университете, как растут митинги. Он выслушивал меня с видимым неудовольствием, а потом просто стал отмахиваться от меня:

– Будст, будет. Довольно. И так знаю...

Власть в этих условиях начала явно расползаться. Из многих участков стали сообщать, что городовые боятся ходить на службу. На них народ нападает. В начале октября один агент, выслеживавший собрание за одной из застав, не вернулся, а вскоре нашли его труп. После выяснилось, что революционеры его арестовали, нашли при обыске документы, подвергли допросу и убили. Это чуть не привело к забастовке даже у меня в Охранном отделении. Агенты стали говорить, что они более не могут ходить за черту города. Я быстро подавил эти разговоры, имел с ними объяснение, строго отчитал и заявил, что не допущу таких вещей. Но было ясно, что так дальше продолжаться не может. Власти нет. Нужно решиться пойти в ту или другую сторону – иначе все окончательно погибнет.

Глава 6

РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

Содержание большой политики Рачковского, о которой я мельком упоминал в предыдущей главе, стало для меня ясным далеко не сразу. С разных сторон я получал сообщения, что он развивает большую деятельность, посещая всевозможных высокопоставленных лиц и ведя с ними различные политические беседы. Особенно часто он посещал С.Ю. Витте. Сначала я не придавал этому большого значения, зная, что у Витте были давнишние, старые связи с Рачковским. Но затем, еще перед отъездом Витте в Америку на предмет переговоров о заключении мира с Японией, агенты Охранного отделения стали мне сообщать, что в тот дом, куда часто ездил Трепов по своим личным делам, зачастил в последнее время и Витте. Нити между Морской и Аптекарским островом стали протягиваться весьма прочно. Трепов и не скрывал в эту пору своих симпатий к Витте. Он неоднократно мне говорил, что, по его мнению, Витте крупнейший наш государственный человек. Если он сейчас не у дел, то скоро обязательно выплывет. Вскоре Трепов сообщил мне, что при докладе Государю он высказал мнение о Витте как о единственном человеке, который может улучшить отношения между властью и обществом. Точно такие же оценки все чаще и чаще высказывались в разговорах и Рачковским. Он нередко упоминал о мнениях Витте по тому или иному поводу. Сущность мыслей Витте сводилась к тому, что необходимо договориться с интеллигенцией и торгово-промышленными кругами и привлечь лучших представителей этих слоев на сторону правительства для совместной борьбы против подымающейся анархии.

После возвращения Витте из Портсмута колоссально возросло его влияние. Мир, им заключенный, был действием большого государственного человека. Вести войну дальше мы, конечно, не могли. Военные специалисты, правда, доказывали, что с точки зрения военной мы могли бы не только продержаться, но даже победить. В то время как наши силы увеличивались, японские – уменьшались. Может быть, это правда, – но это была правда только с точки зрения узких специалистов. Внутри страны положение власти во вся-

ком случае становилось все менее и менее прочным, и долгое время выдерживать военное напряжение с точки зрения внутренних отношений было абсолютно невозможно. Только ликвидация войны открыла возможность успешной борьбы с нараставшей анархией. За этот портсмутский мир впоследствии на Витте много нападали, но в то время для нас не было сомнений в том, что это мудрый государственный ход...

Вскоре после возвращения Витте из Портсмута вспыхнула октябрьская забастовка. Положение было особенно тяжелым потому, что власть находилась в состоянии полной нерешительности. Незадолго перед тем Трепов отдал общий приказ по Департаменту полиции никаких арестов не производить, кроме бомбистов и террористов.

И вот вспыхнула всеобщая забастовка. Вся жизнь остановилась. Не было электричества, не подавали газа, не шли конки. Бастовали все: городские и земские управы, банки, магазины, даже чиновники в правительственных учреждениях. Забастовка, распространившаяся по всей стране, отрезала Петербург от всего мира. Бастовали и почтово-телеграфные служащие. В петербургской полиции также началось дивжение в пользу забастовки. В одном участке городовые и надзиратели отказались от несения полицейских обязанностей.

В эти дни я от Трепова узнал, что Вильгельм прислал Государю письмо с предложением в случае опасности переехать к нему в Германию. Об этом письме вообще тогда было очень много разговоров. Передавали, что с одной стороны Вильгельм советовал ввести конституцию — но в то же время предлагал свою помощь для подавления революционного движения. Говорили даже, что на границе уже стояли готовые двинуться в Россию немецкие корпуса.

Насколько верны были все эти слухи, я судить не могу. Во всяком случае в Финском заливе, вблизи Петергофа, около этого времени действительно появилось несколько немецких военных крейсеров.

Трепов передавал мне, что в связи с получением предложения кайзера при дворе шли большие споры. Придворная партия, противница реформ, высказывалась в пользу отъезда царя. У Трепова было колеблющееся настроение. Он не знал, какой совет подать Государю. Он передавал, что Витте высказывается против отъезда, и спрашивал моего мнения. Я высказался решительно против отъезда царя, заявивши, что если царь уедет, то с династией в России навсегда покончено. Не будет центра, вокруг которого могли бы объединиться силы порядка, и революционные волны захлестнут столицу, а вместе с ней и всю Россию. Как ни тревожно положение, надо оставаться. Если царь уедет, он уже не сможет вернуться.

Трепов сказал:

— Да, да. То же самое говорит Сергей Юльевич.

В дни забастовки я ежедневно приезжал к Трепову, сообщая о ходе ее и спрашивая указаний, что делать. И всегда я получал один ответ:

– Подождите, подождите. Еще несколько дней – и все должно выясниться.

Что должно выясниться, мне было неизвестно. Я понимал, что речь идет о большой реформе. Помимо частных свиданий Трепова с Витте мои агенты, охранявшие Трепова, зарегистрировали выезды Трепова во дворец великого князя Николая Николаевича, к этому времени занимавшего пост главнокомандующего войсками.

Эти ответы Трепова вплотную довели меня до 17 октября. В этот день я приехал с обычным докладом. Вопреки обыкновению, пришлось несколько подождать. Трепов был занят. Потом он вышел ко мне и сказал:

– Простите, что заставил вас ждать. Только что звонил Сергей Юльевич. Слава Богу, манифест подписан. Даны свободы. Вводится народное представительство. Начинается новая жизнь.

Рачковский был тут же рядом со мной и встретил это известие восторженно, вторя Трепову:

– Слава Богу, слава Богу... Завтра на улицах Петербурга будут христосоваться, – говорил Рачковский.

И, полушутя, полусерьезно обращаясь ко мне, продолжал:

– Вот ваше дело плохо. Вам теперь никакой работы не будет.

Я ответил ему:

– Никто этому не будет так рад, как я. Охотно уйду в отставку.

Отсюда я поехал к градоначальнику Дедюлину. Там меня встретили с текстом манифеста в руках и говорили теми же словами, что и Трепов:

– Ну, слава Богу. Теперь начнется новая жизнь.

Когда Дедюлин узнал, что я не читал еще манифеста, он мне его дал, сам прочел вслух и в заключение поцеловал бумагу.

Были созваны на совещание все полицмейстеры столицы. Совещались о том, как объявить манифест народу. Кто-то предлагал сообщить его через герольдов. Другой предложил напечатать его золотыми буквами – золотую грамоту, – и прочесть во всех церквах. Никто ни словом не заикался о том, что могут быть осложнения, беспорядки. По-видимому, я сидел несколько нахмуренный, потому что Дедюлин обратился ко мне с вопросом:

– А вы, Александр Васильевич, кажется что-то не в духе?

Тут я в первый раз высказал одолевавшие меня сомнения, которые были у меня во время разговора с Треповым и которые я там не высказал.

– Боюсь, – сказал я, – что завтра начнется революция. Мы вот здесь говорим о золотых буквах и о царских герольдах. Я думаю, что в университете уже шьют красные флаги.

Со мной никто не согласился: все смотрели на меня, как на какого-то чудака, который выдумывает разные страхи.

Отовсюду в градоначальство поступали телефонные запросы. Звонят иностранные корреспонденты, редакции газет. Справляются отдельные лица:

– Правда ли, что издан манифест?

И как сейчас помню радостный голос дежурного чиновника, который всем отвечал:

– Да, да. Правда, правда.

На другой день, во вторник 18 октября, я с утра отправился по Невскому к Казанскому собору. Уже ночью в университете происходили первые демонстрации, подтверждавшие мои опасения. Но все же как-то не хотелось верить, что эти опасения оправдаются в полной мере. На пути к Казанскому собору меня обогнала на тротуаре группа студентов и курсисток с повязками красного креста на руках. Я был в штатском, ничем не выделялся из толпы и поэтому обратился к ним с вопросом:

– В чем дело? Зачем вам красный крест? К чему готовитесь?

Они объяснили мне, что идут на место молебствия к Казанскому собору, так как там предвидится столкновение с полицией.

В революционных кругах с самого начала настроение было, по-видимому, не такое оптимистическое, как у Трепова или в градоначальстве.

После прогулки я вошел в Охранное отделение. Я не был там ни сегодня, ни вчера, – с того момента, как мне стал известен манифест. Меня окружили все чиновники и офицеры:

– В чем дело? Что это значит? Как понимать манифест?

Большинство сходилось на том, что Охранное отделение теперь будет устранено. И многие просили меня оказать им протекцию, кто – для поступления в железнодорожное жандармское управление, кто – в пограничную стражу. Я отшучивался. Я обещал всякое содействие и помощь, но – отшучивался:

– Успокойтесь, господа. Без нас не обойдутся. Полиция имеется даже во французской республике. Кто хочет, может уйти, – а нам работа найдется.

Я сидел у себя в Охранном отделении и раздумывал над тем, кто же в конце концов прав? Может быть, я черезчур пессимист, и прав Трепов, положившийся на мирное развитие событий?

Регулярно поступали сведения из участков о настроении столицы. Из одного участка приходили донесения, что на улицах демонстрации, выброшены красные знамена, выступали ораторы. На улицах не было прохода, и местами полиция и казаки вынуждены были вмешаться, чтобы очистить улицы.

Но все-таки ничего значительного не было и под этим впечатлением я отправился к себе домой. Состояние раздвоенности продолжалось. Что-то будет?

В утренних газетах я прочел приказ Трепова: „патронов не жалеть"; разгонять демонстрации, не допускать, и в случае отказа разойтись – действовать оружием. Этот приказ был для меня совершенной неожиданностью.

Утром, когда я шел на службу, наткнулся на маленький летучий митинг. Какой-то оратор, уцепившись за фонарь, говорил о том, что не благодарить царя, не служить молебны нужно – а прогнать царя прочь. Он должен заплатить своей головой за все, что причинили Романовы стране.

Это мне показало, что не только я был прав в своем пессимизме, но наоборот, я был недостаточно пессимистичен. Положение было еще хуже, чем я думал.

Глава 7

КАК ВЛАСТЬ ВЕРНУЛАСЬ

После впечатлений последних двух дней для меня сразу стало ясно, что надо готовиться к большим и тревожным событиям. Но далеко не сразу эта перспектива уяснилась тем другим людям из правительственного и административного аппарата, согласие которых мне было необходимо для приступа к решительным действиям. Помню, 19-го или 20-го октября я явился к Трепову для очередного доклада. Эта была наша первая встреча после того дня, когда он сообщил мне о манифесте и со слезами на глазах говорил о начинающейся новой жизни. Не без любопытства стал я расспрашивать его, остается ли он по-прежнему на своей тогдашней точке зрения, и не кажется ли ему, что его приказ о патронах не соответствует его прежним представлениям о новой жизни. Трепов был несколько смущен, но старался не показать этого и говорил, что осложнения при таком крутом повороте на новые рельсы неизбежны. Не нужно только выпускать возжей из рук, надо добиться прекращения демонстраций – а там все войдет в колею... Такого же мнения продолжали держаться и другие представители власти.

Помню, когда через несколько дней был объявлен указ об амнистии, во время моего отсутствия заявились какие-то два господина в Охранное отделение, предъявили мандат от Совета рабочих депутатов и потребовали, чтобы им показали арестные помещения при охране:

– Мы желаем удостовериться, – говорили они, – что указ об амнистии выполнен в точности.

Мой помощник, подполковник Модель, настолько растерялся, что уступил их требованию и провел их по всему помещению Охранного отделения. Когда я пришел, их уже не было. Легко представить мое возмущение, когда я узнал, что они заглядывали даже в мой кабинет. Я жестоко отчитал Моделя. Положение было такое, что, можно думать, если бы представители Совета хотели посмотреть бумаги на моем столе, то им разрешили бы сделать и это. Модель не оставался более на службе в отделении. Я считал больше невозможным с ним служить. Именно после этого эпизода я стал под-

бирать в Охранное отделение только тех людей, на которых я мог полностью положиться.

Назначение Витте председателем Совета министров повлекло за собой большие перемены на верхах администрации. Как мне тогда рассказывали, у них заранее были распределены роли: Витте, председатель Совета министров, должен был иметь своего человека при дворе — в лице Трепова, дворцового коменданта. Функции этого последнего в России совершенно не соответствовали этому титулу. Постоянно соприкасаясь с царем, будучи посредником между ним и министрами, дворцовый комендант пользовался огромным влиянием и играл крупную политическую роль. То, что Витте имел в Трепове своего союзника, являлось для Витте серьезной поддержкой. В течении нескольких дней шли переговоры о привлечении в состав правительства представителей либеральной интеллигенции и общественности. Витте возлагал на эти элементы большие надежды. Именно с их помощью он рассчитывал расколоть общественное движение, привлечь на сторону правительства всех благомыслящих либералов, оставив в лагере революции одни только анархические и безгосударственные элементы. Подробностей этих переговоров я не знал. Позднее во время одного из моих докладов Витте громко жаловался мне на либеральную интеллигенцию, особенно на профессуру и земцев. По его мнению, она оказалась недостаточно государственно подготовленной. Он думал, что если бы она не оттолкнула его предложение, все пошло бы совсем по-иному.

Должен сказать, что у меня и тогда не было этого благодушного отношения к планам Витте, и я скорее обрадовался, нежели огорчился, когда из газет узнал, что министром внутренних дел назначен не какой-нибудь либеральный профессор, а прежний директор Департамента Полиции, П.Н. Дурново. О нем сложилось представление как об очень реакционном человеке. Это представление не соответствовало действительности. Дурново был очень своенравный, вспыльчивый человек, абсолютно не терпевший противоречий, иногда самодур, но отнюдь не человек, отрицавший необходимость для России больших преобразований. В старой России подобного типа человеком был Победоносцев. Дурново же был человеком совсем иным. Тогда мне приходилось не раз выслушивать от него определенно либеральные заявления. Во всяком случае в октябре 1905 года он пришел к власти с настроениями, ни в чем существенно не отличавшимися от настроений Трепова, Витте и других творцов манифеста 17-го октября.

Помню мое первое свидание с Дурново. Он только что вступил во власть и вызвал меня для разговоров в здание Департамента Полиции. Свидание состоялось в большом кабинете директора Департамента. Дурново сидел за большим директорским столом. Перед ним лежала груда дел и бумаг. Я знал: это те особо-секретные дела, которые не поступают в общее делопроизводство и остаются в веде-

нии самого верховного руководителя Департамента Полиции, переходя доверительно из рук в руки, от одного – к другому. Дурново потребовал, чтобы я сделал доклад о положении. Конечно, я высказал свое мнение с полной откровенностью и, по всей вероятности, не скупился на черные краски, чтобы обрисовать тот нарастающий развал власти, который шел у нас на глазах. Я чувствовал, что мой доклад был Дурново несколько не по вкусу. Он морщился и наконец перебил меня:

– Так скажите: что же, по-вашему, надо сделать?

– Если бы мне разрешили закрыть типографии, печатающие революционные издания, и арестовать 700-800 человек, я ручаюсь, что я успокоил бы Петербург.

– Ну, конечно. Если пол-Петербурга арестовать, то еще лучше будет, – ответил Дурново. – Но запомните: ни Витте, ни я на это нашего согласия не дадим. Мы – конституционное правительство. Манифест о свободах дан, и назад взят не будет. И вы должны действовать, считаясь с этими намерениями правительства, как с фактом.

Наша беседа длилась около часа. Больших надежд она в меня не вселила. Но я знал Дурново, как опытного администратора с сильной рукой, и надеялся, что факты скоро убедят его в правильности тех выводов, к которым я уже пришел.

А недостатка в этих фактах не было. Повсюду шли собрания и митинги. Можно сказать, что Петербург находился в состоянии сплошного митинга. Из-за границы приехали эмигранты и присоединились к выпущенным из тюрем революционерам. Из-за границы же привезли русские нелегальные издания и начали открыто продавать их на улицах. Помню, на Невском у католической церкви Св. Екатерины был поставлен столик, на котором лежали целые вороха женевских, парижских, лондонских изданий, – „Искра", „Революционная Россия", даже какие-то анархистские листки. Каждый мог подойти и купить. Я сам порылся и прикупил кое-что для своей коллекции революционной литературы. Но эта продажа не имела уже большого значения. Как грибы росли революционные издания. Конфискации нелегальных типографий побудили революционные партии начать печатать свои издания в легальных частных типографиях, которые при содействии профессиональных союзов согласились печатать их, одни – бесплатно, другие – за минимальную плату. И скоро появились легальные газеты с аншлагами: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь", „В борьбе обретешь ты право свое", и статьи, печатавшиеся в них, звучали ничуть не слабее, чем прежде, когда они печатались на берегу Леманского озера. Потом пошла настоящая волна сатирических журнальчиков. Особенно специализировались некоторые из этих журнальчиков на высмеивании царя. Он сидит на троне, а мыши подгрызают ножки трона. Он в испуге забился в занавеску, а с улицы несутся революционные крики... Вот, примерно,

их обычный сюжет. И при этом соблюдался некоторый декорум, в том смысле, что лица царя никогда не рисовали. Но карикатуристы так изловчились, что по пробору или даже по одному повороту головы легко было понять, в кого метило бойкое перо. О том, что министрам очень жестоко доставалось в сатирических журналах, говорить, конечно, не приходится.

Я регулярно собирал все эти издания и каюсь, не без некоторого злорадства показывал их на докладах Дурново. Порой он не понимал смысла карикатур, и мне приходилось разъяснять ему:

— Это — граф Витте, а вот это — в виде свиньи или жабы — это Вы, Ваше Высокопревосходительство.

Особенно доставалось Дурново по случаю одной, приключившейся с ним некогда, истории. Еще в начале 90-х годов, когда он был Директором Департамента Полиции, его темперамент сыграл с ним плохую шутку. Он ухаживал за одной дамой общества. Эта дама какое-то время относилась к нему весьма благосклонно, но затем завела роман с бразильским посланником. Дурново, как Директору Департамента Полиции, был подведомствен черный кабинет, и он, ничтоже сумняшеся, приказал по службе доставлять ему письма этой дамы к бразильскому посланнику. Передают, эти письма были настолько красноречивы, что не оставляли никаких сомнений в характере отношений дамы с послом. Взбешенный Дурново поехал объясняться с дамой своего сердца. Та категорически все отрицала. Тогда Дурново бросил ей в лицо пакет подлинных ее писем и, уезжая, имел неосторожность оставить эти письма у нее. Дама не преминула пожаловаться бразильскому посланнику. И началась история... Бразильский посланник воспользовался встречей с Государем на одном из придворных балов и рассказал ему всю эту историю. Покойный Царь был возмущен, тут же на балу подозвал к себе министра внутренних дел (им тогда был однофамилец П.Н. — Иван Н. Дурново) и с присущей ему резкостью заявил: „немедленно убрать прочь этого дурака". Карьера П.Н. Дурново было оборвана: на другой же день он сдал свои дела по Департаменту Полиции и уехал за границу. Конечно, эта история не была тайной, и теперь редакторы сатирических журналов любили напоминать министру о Высочайшей резолюции.

Надо сказать, что Дурново к этим нападкам на него лично и на других министров относился вообще довольно благодушно. Но он не мог с таким же благодушием относиться к нападкам на царя. Именно из-за карикатур на последнего и начались конфискации, которые, правда, не давали больших результатов. Когда являлась полиция, она находила в типографии только несколько десятков номеров журнала из напечатанных десятков тысяч экземпляров. И только наживались газетчики, продавая „конфискованный" номер вместо 5-ти копеек за 1, 2, 3, а порой и 5 рублей.

Еще хуже распространения революционных изданий было другое: существование и рост влияния Совета рабочих депутатов. Он

возник в дни октябрьской забастовки для руководства стачечным движением. По окончании забастовки Совет расширился, реорганизовался и – стал вести себя, как второе правительство. Во все учреждения он слал запросы, требовал справок и объяснений – и всего хуже было то, что учреждения, даже правительственные, даже полиция, эти справки и объяснения Совету давали. Выше я упоминал, как Совет провел ревизию арестных помещений даже при охранном отделении. Открыто он проводил сборы на вооружение, а вскоре приступил к созданию исполнительного органа своей власти – милиции. Представители этой милиции с особыми повязками на рукавах вмешивались в действия чинов полиции, давали им указания, предъявляли требования – и растерянная полиция нередко их слушалась.

Помню, я сам был свидетелем такой сценки в ноябре. Я шел по Литейному проспекту и увидел, что какой-то господин с повязкой на руке подошел к постовому городовому и что-то такое ему сказал. Городовой последовал за ним. Когда они проходили мимо меня, я остановил их и спросил, в чем дело. Господин с повязкой весьма охотно разъяснил:

– Вот в этом дворе невероятно антисанитарные условия. Помойная яма давно не чищена, и страшно воняет. Я предложил городовому немедленно принять соответствующие меры.

– Но, позвольте, – возразил я, – кто вы такой?

– Я – представитель милиции, – ответил господин.

– Какой милиции?

– Милиции, организованной Советом рабочих депутатов, – авторитетно разъяснил господин с повязкой.

Забыв, что я в штатском, я потребовал от городового арестовать этого господина. Городовой иронически на меня посмотрел и отказался. Мне пришлось уйти, а городовой отправился вслед за представителем милиции составлять протокол об антисанитарном состоянии двора.

И об этом эпизоде я тоже доложил Дурново.

Самым опасным явлением, которое нам пришлось наблюдать в это время, были признаки проникновения разложения в армию. До октября, поскольку речь идет о Петербурге, в армии все обстояло сравнительно благополучно. Наверное, отдельные попытки пропаганды были, но у меня в памяти во всяком случае не осталось ничего серьезного. Только совсем накануне манифеста 17 октября начались большие осложнения с одним из стоявших в Петербурге флотских экипажей, где матросы отказывались подчиняться офицерам. Передавали, что среди них идут разговоры о необходимости поступить так, как поступали матросы на Черном море, где незадолго перед тем было восстание на броненосце „Потемкин". По этому поводу при штабе командующего войсками округа было созвано специальное совещание, на котором было решено: экипаж немедленно

разоружить и вывезти в Кронштадт. Во время этого разоружения впервые выдвинулся полковник Мин, впоследствии усмиривший восстание в Москве. Он командовал тогда Семеновским полком, который и был, как наиболее надежный, назначен для проведения разоружения экипажа.

Эта операция настолько интересовала меня, что я отправился на нее лично. Мин действовал очень точно и быстро. Ночью назначенные отряды семеновцев окружили казармы, которые занимал неспокойный экипаж. Сам Мин в сопровождении командира экипажа и отборного отряда солдат вошел внутрь казарм. По намеченному плану отряды солдат прежде всего прошли в помещение, где находились винтовки, после чего Мин пошел в спальные и решительно скомандовал:

– Одеваться.

Вышла небольшая заминка, матросы как будто заколебались, исполнять ли приказание, тогда он сказал решительно:

– Военную службу забыли? Смотри, я вам напомню!

Все остальное прошло спокойно. Без всяких осложнений экипаж был выведен во двор и затем погружен на суда.

К сожалению, не все спокойно прошло позднее. Именно этот экипаж сыграл руководящую роль в восстании, которое вспыхнуло в Кронштадте дней через десять после октябрьского манифеста. Это восстание сразу всполошило командиров всех военных частей, расположенных в Петербурге, и они стали обращаться ко мне с просьбами выяснить, не ведется ли пропаганда в том или ином полку. Помню, особенно часто приезжали ко мне помощник командира кавалергардского полка Воейков (командиром полка был старик князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон) и командир Преображенского полка генерал Гатон. В кавалергардском полку дело обошлось сравнительно хорошо. Мне скоро удалось выяснить, что там в писарской команде было несколько писарей-революционеров. Они были в ноябре или декабре арестованы и преданы суду. Хуже обстояло с преображенцами. Поставленное мною наблюдение установило, что среди преображенцев велась систематическая пропаганда, особенно в первом батальоне, который считался наиболее близким к царю и был расположен около Зимнего Дворца. Мои агенты проследили, что туда постоянно ходила одна революционерка-пропагандистка. Агенты сделали попытку проникнуть вслед за нею в казармы, но это им не удалось, постовые их туда не пропустили. Об этих результатах наблюдения я сообщил при ближайшем свидании Гатону и просил, чтобы командование полка само приняло надлежащие меры. Вести надзор внутри казарм я не мог, так как агентов из среды солдат у меня не было. К сожалению, меры, очевидно, были приняты недостаточные, ибо несколько месяцев спустя во время 1-й Государственной Думы как раз в этом батальоне Преображенского полка произошли серьезные беспорядки.

Такого рода частные сношения с командирами отдельных полков были далеко не достаточны, так как в целом ряде других полков велась систематическая пропаганда. К тому же я чувствовал себя совсем не удобно, когда мне, полковнику, приходилось давать указания полковым командирам, обычно генералам, часто даже свитским. Поэтому по моей инициативе в ноябре при градоначальстве были устроены периодические совещания представителей полиции с командирами всех воинских частей, расположенных в Петербурге. На этих совещаниях разрабатывались общие вопросы борьбы с пропагандой в армии, а также устанавливалась диспозиция на случай восстания в столице. Надо признать, что настроение на этих совещаниях было далеко не блестящим. Только командования кавалерийских частей и Семеновского полка ручались за свои войска. Все остальные давали неуверенные ответы. Особенно плохо было среди саперов. – На этих же совещаниях я познакомился с комендантом Кронштадтской крепости Николаем Иудовичем Ивановым, также и с полковником Михаилом Васильевичем Алексеевым. Первый очень выдавался своей решительностью и смелостью. Именно он подавил кронштадтское восстание. Второй упорно уклонялся от всех политических заявлений, говоря, что он только военный специалист, в политике ничего не понимает и ею не интересуется. На этом совещании была разработана на случай восстания точная диспозиция, какие части занимают какие пункты, как будут разведены мосты, как будут отрезаны рабочие районы от центра и т.д.

Параллельно с этими совещаниями при градоначальстве с ноября шли почти ежедневно совещания у Дурново. Они выросли из моих ежедневных докладов. На этих докладах с самого начала присутствовал Рачковский. С первого своего свидания с Дурново я настаивал на необходимости больших арестов и в первую очередь ареста Совета рабочих депутатов. Дурново ездил к Витте и возвращался с ответом, что предлагаемые мною меры совершенно немыслимы. Единственное, на что они давали согласие, – это на конфискации отдельных, наиболее возмутительных изданий или на арест отдельных лиц. Для решения этих вопросов, кого именно арестовать, и привлекались на совещания, помимо Рачковского, также градоначальник Дедюлин, 2-й директор Департамента Полиции Вуич, представитель прокуратуры Камышанский. Решение каждого конкретного вопроса, каждый арест или конфискация, давались тогда с трудом. Мне приходилось каждый раз доказывать, что данное лицо совершило совершенно недопустимое, даже с точки зрения широко толкуемых свобод, преступление.

Так шло до того момента, пока мы не уперлись в вопрос об аресте Совета рабочих депутатов. Вопрос об этом аресте я ставил с самого начала. Но его все время отодвигали, отодвигали. Наконец, мне удалось доказать, что председатель Совета Хрусталев имеет – я уже не помню какое точно – отношение к прямой подготовке

вооруженного восстания. Не без колебаний совещание высказалось за его арест — но именно только его одного. Остальные члены Совета не должны быть арестованы, и сам Совет не должен быть закрыт. Как известно, на арест Хрусталева Совет ответил составленной в пышных выражениях резолюцией, заканчивавшейся заявлением, что Совет продолжает готовиться к вооруженному восстанию. После этого я решительно заявил, что ни за что больше не отвечаю, если организация, открыто провозглашающая, что она готовится к вооруженному восстанию, не будет запрещена и арестована. Я чувствовал, что мои доводы не могли не казаться правильными Дурново. Но он опасался, что за арестом Совета последует революционный взрыв. Такого же мнения держался и Рачковский, который все время говорил, что нам нужно оттягивать развязку и содействовать организации благомыслящих слоев общества. Под этим он имел в виду создание патриотических организаций, инициатором которых он вместе с Дубровиным тогда был. Первое собрание создателей этих организаций я посетил и был далеко не в восторге от них. Никакой реальной силы они не представляли и не только не могли поддержать правительство, но и сами-то существовали только благодаря поддержке правительства.

Ввиду моих настояний Дурново решил устроить официальное совещание для решения вопроса об аресте Совета рабочих депутатов. Это совещание было конструировано при министерстве юстиции под председательством Ивана Григорьевича Щегловитова, будущего министра юстиции и вождя крайней реакционной партии в 1907-17 годах. В состав совещания вошли: Рачковский с Вуичем от Департамента Полиции, Камышанский и Трегубов — от прокуратуры.

На этом заседании я развил свои доводы. Меня поддержал только Камышанский. Все остальные были против. Щегловитов тоже высказался против, приняв точку зрения Рачковского, относительно которого было известно, что он отражает мнение также и Витте. В соответствующем духе был составлен протокол. Ареста решено было не производить. Меня это решение, конечно, не удовлетворило. Я чувствовал, что продолжение прежней политики грозит большой катастрофой и отправился еще раз к Дурново, захватив с собой официальный протокол совещания. Он взял протокол и молча его читал.

Во время моего доклада Дурново сообщили, что к нему пришел тогдашний министр юстиции, Михаил Григорьевич Акимов. Дурново попросил его войти и продолжал беседу со мной. Как сейчас помню фигуру Акимова — небольшого, сухого, седоватого человека. Он молча, не проронив ни слова, слушал мои соображения и сомнения, высказывавшиеся Дурново. Я обратил также внимание Дурново на только что опубликованный в газетах „манифест" Совета рабочих депутатов, призывающий население вынимать вклады

из государственного банка и ссудо-сберегательных касс. Но и эта наша беседа не приводила к положительным результатам. Дурново заявил в заключение, что он, хотя и понимает мое настроение, но не считает возможным пойти по указываемому мною пути.

– Я, – сказал он, – в конце концов склоняюсь к мнению большинства совещания и формально утверждаю протокол этого совещания.

В этот момент в разговор вмешался Акимов.

– А я, – заявил он, – целиком согласен с полковником. И если вы как министр внутренних дел не считаете возможным принять предлагаемые им меры, то это сделаю я.

Тут же Акимов взял лежавший на столе блокнот и написал на нем несколько слов, которыми как генерал-прокурор империи уполномачивал меня произвести арест Совета рабочих депутатов.

Дурново не возражал. И у меня было впечатление, что он даже рад тому, что мера, которая и ему представляется необходимой, решена не им. Я не стал медлить, взял весь блокнот с запискою Акимова в карман и ушел.

Вечером этого же дня – это было 3-го декабря – Совет рабочих депутатов был арестован. Я получил для этого в свое распоряжение войска, оцепил помещение Вольно-Экономического общества, где заседал Совет. Мы ждали сопротивления, но все обошлось мирно. Знаю только, что арест произошел во время заседания под председательством Троцкого. Все арестованные были отправлены в тюрьмы, часть – в Петропавловскую крепость, и переданы немедленно в распоряжение судебных властей.

Как это ни странно, но и этот арест еще не решил окончательно вопроса о перемене курса правительственной политики. Совет рабочих депутатов был арестован, но аресты вообще не проводились. Это изменение политики началось через несколько дней.

От своих агентов я получил сведения, что революционные партии решили на арест Совета рабочих депутатов ответить всеобщей забастовкой и вооруженным восстанием и что провозгласить эту забастовку должен всероссийский железнодорожный съезд, назначенный в Москве на 6 декабря – под предлогом пересмотра устава касс взаимопомощи железнодорожных служащих. В этом съезде должны были участвовать представители революционных партий и организаций. На совещании у Дурново я предложил отдать приказ об аресте всего железнодорожного съезда. Как всегда, и на этот раз Рачковский высказался против. Он считал лучшим подождать и посмотреть, какое впечатление произвел арест Совета. Я полагал, что именно теперь ждать нет никакого смысла, но и на этот раз Дурново согласился с Рачковским. Было решено послать Рачковского в Москву, где он должен был следить за ходом работы съезда и в зависимости от того, какое течение на нем возьмет верх, действовать и принять те или иные меры. Под предлогом нездоровья Рачковский

затянул свой отъезд и выехал из Петербурга только поздно вечером 6-го декабря, когда в Москве все решения уже были железнодорожным съездом приняты.

Об этих решениях я узнал от Дурново. В ночь с 6 на 7 часов около 4-х утра он разбудил меня по телефону.

— Приезжайте немедленно. Есть важная новость.

Конечно, я не заставил себя ждать. Дурново сообщил мне, что ему только что доставили с телеграфа копию телеграммы, разосланной московским железнодорожным съездом по всем линиям железных дорог, — предлагающей объявить всеобщую забастовку с переходом на вооруженное восстание.

— Вы были правы, — сказал мне Дурново, — мы сделали ошибку, что так долго тянули. Надо действовать самым решительным образом. Я уже говорил с Царским Селом. Царя разбудили, и он примет меня в 7 часов утра для экстренного доклада. К 9-ти я буду обратно. Ждите меня. Все ли готово для арестов?

Дурново был совсем иной. Никакого колебания у него не было. Видно было, что человек уже решился. И меня этот поворот политики не застал врасплох.

Я, действительно, через несколько дней после октябрьского манифеста начал систематически готовиться к тем арестам, которые, по моему мнению, были необходимы, чтобы предотвратить в Петербурге революционный взрыв. Для этой цели я мобилизовал всю мою филерскую команду, насчитывавшую тогда до 150 человек. К ним же я присоединил всю охранную команду Охранного отделения, в которой было около 100 человек. Они все получили от меня самые точные инструкции. Их задачей было выследить квартиры всех активных деятелей революционных партий, особенно связанных с боевым делом. Подобного рода инструкции получили от меня и все секретные агенты, которых у меня тогда было очень много, особенно в рабочих кварталах. Всею работой руководил я сам. Все наиболее интересные доклады сам выслушивал или прочитывал. В революционных кругах к этому времени конспирация совсем упала. Люди перестали обращать внимание, следят за ними или нет. Это облегчало нашу работу. А потому к началу декабря намеченные мною списки были уже в полном порядке.

От Дурново я проехал в Охранное отделение, в срочном порядке вытребовал ответственных чиновников канцелярии и немедленно же засадил их за составление плана операции по очистке Петербурга. В 9 часов я был у Дурново. Он рассказал мне о своей беседе с царем. Последний выслушал доклад и полностью согласился с Дурново:

— Да, вы правы. Надо теперь же принять решительные меры. Ясно, что или мы, или они. Дальше так продолжаться не может. Я даю вам полную свободу предпринять все те меры, которые вы находите нужными.

Здесь же в моем присутствии Дурново написал телеграмму во все жандармские управления империи о необходимости немедленного ареста всех главарей революционных партий и организаций и подавления всех революционных выступлений и митингов, не останавливаясь перед применением военной силы. Мне он дал „карт блянш" действовать в Петербурге, как я считаю необходимым.

Весь день прошел в подготовительной работе. Так как чинов Охранного отделения и жандармского управления было, конечно, недостаточно, то в помощь были мобилизованы все наличные силы полиции. Было намечено, кто именно будет руководить какими именно обысками и арестами. Под вечер около 5-ти часов руководители всех отрядов были собраны в Охранное отделение. Мои указания были совершенно точны. Намеченные обыски должны были быть произведены, чего бы это ни стоило. Если отказываются открывать двери, следовало немедленно их выламывать. При сопротивлении — немедленно стрелять.

Всю ночь я оставался в Охранном отделении. Каждую минуту поступали донесения. Всего было произведено около 350 обысков и арестов. Взяты 3 динамитных лаборатории, около 500 готовых бомб, много оружия, маузеров, несколько нелегальных типографий. В 4-х или 5-ти местах было оказано вооруженное сопротивление. Сопротивлявшиеся убиты на месте.

На следующий день было произведено еще 400 обысков и арестов.

Отмечу, что среди арестованных тогда был Александр Федорович Керенский. Он был начальником боевой дружины социалистов-революционеров Александро-Невского района. Позднее, через 12 лет, он стал министром юстиции Временного Правительства и в качестве такового издал приказ о моем аресте...

Именно этими мерами было предотвращено революционное восстание в Петербурге. Конечно, забастовки были. Были и разные попытки демонстраций и митингов. Но ничего похожего на тот взрыв, которого все опасались и который казался всем неизбежным, в Петербурге не случилось.

Иначе обстояло дело в Москве. Оттуда скоро начали приходить тревожные телеграммы. Плохо было не столько то, что восстали рабочие, сколько то, что разложение проникло в войска, и начальство боялось выводить их на улицу для усмирения. Новый московский генерал-губернатор Дубасов по несколько раз в день звонил, требуя присылки из Петербурга „совершенно надежных" войск; иначе он не ручался за исход борьбы.

По совещании с командующим войсками Петербургского округа был послан в Москву Семеновский полк во главе с полковником Мином. Дурново очень беспокоился, благополучно ли пройдет отправка полка из Петербурга в Москву. Были приняты экстренные меры охраны. Все опасные места были заняты железнодорож-

ными батальонами и жандармскими командами — как это полагается при проезде царя. Все обошлось благополучно. Но первые донесения Мина из Москвы были далеко не утешительными. Он сообщил по телеграфу, что местный гарнизон, особенно гренадерская дивизия, совершенно не надежен. Мин просил подкрепления, присылки из Петербурга еще одного полка. Семеновцы чувствуют себя, как во враждебной стране, и начинают заметно колебаться.

Я присутствовал при этом разговоре Дурново с Мином. Дурново спросил моего мнения:

— Что нужно делать?

Я сказал — и Дурново тут же почти под мою диктовку передал Мину инструкции:

— Никаких подкреплений вам не нужно. Нужна только решительность. Не допускайте, чтобы на улице собирались группы даже в 3-5 человек. Если отказываются разойтись — немедленно стреляйте. Не останавливайтесь перед применением артиллерии. Артиллерийским огнем уничтожайте баррикады, дома, фабрики, занятые революционерами.

Эти инструкции произвели должное впечатление, ободрили Мина. Он начал действовать решительно, и скоро мы узнали о начавшемся переломе в настроениях и московского гарнизона...

До этого времени Витте и Дурново были, казалось, во всем между собой солидарны. Дурново все время ссылался на авторитет Витте, советовался с ним, ничего не делал самостоятельно. Поездка к Царю ночью 7-го декабря была едва ли не первым решительным шагом, предпринятым Дурново без ведома Витте, и она явилась переломным пунктом в их отношениях. Дурново после этого перестал считаться с Витте, стал его игнорировать. Это сказалось и на отношении к Рачковскому. Последний вернулся из своей неудачной поездки в Москву — когда все уже было кончено, все аресты произведены. Несмотря на всю свою самоуверенность, он чувствовал себя очень неловко. Дурново не скрыл от меня, что он жестоко Рачковского отчитал за ту „болезнь”, под предлогом которой он оттянул свою поездку в Москву, и за нерешительность и вялость вообще. Если раньше Дурново очень считался с мнением Рачковского, то теперь с этим было покончено.

Трения между Дурново и Витте косвенно отразились и на мне. Вскоре после арестов, еще до Рождества, из канцелярии Витте мне передали, что Витте желает меня видеть. Я сообщил об этом Дурново, не считая себя вправе ехать на такое свидание, не осведомив о нем своего непосредственного начальника. Дурново решительно запротестовал:

— Ни в коем случае не ездите. Не о чем ему с вами говорить. Если ему нужны какие-нибудь сведения, пусть спрашивает через меня.

Я ответил, что я вовсе не стремлюсь пойти на это свидание, но

что я оказываюсь в невозможном положении: председатель совета министров требует, чтобы я к нему явился.

Дурново обещал сам поговорить с Витте.

Повидаться с Витте мне все же пришлось. Дурново сам передал мне его приглашение и разрешение пойти на это свидание. Наша первая встреча состоялась в запасной части Зимнего Дворца, где тогда жил Витте, – поздно ночью, около 11-12 часов. Витте, которому, очевидно, стало известно о моей роли в декабрьских арестах, пожелал выслушать от меня не только доклад о том, что произошло, но и мою оценку положения. Я ему сказал, что острый период, по моему мнению, уже прошел. Движение входит в свои берега. При известной планомерности и систематичности борьбы его можно свести скоро на нет.

После этого я виделся с Витте еще раз 5-6. Он много рассказывал о той обстановке, в которой он принял власть, и о тех планах, которые у него в свое время были, и горько жаловался на либеральную интеллигенцию, которая, по его словам, во время предварительных разговоров обещала ему всяческую поддержку, а затем бросила его на произвол судьбы в самую трудную минуту. Раздражение против этой интеллигенции в нем было очень сильно, и я не сомневаюсь, что он, если бы остался у власти, в дни 1-й Государственной Думы действовал бы много решительнее, чем действовали те, кто в эти дни были у власти. В монархических кругах позднее про Витте любили говорить, что он хотел быть президентом российской республики. Это, конечно, вздор. Он был очень властолюбив и честолюбив – это правда. Но он был настоящим монархистом и государственным человеком. Перед Государственной Думой, как он высказывался в разговоре, он поставил бы вопрос ребром: или работать с ним на основе манифеста 17 октября, или она будет распущена.

О Государственной Думе, после того как было опубликовано положение о выборах, я пытался говорить и с Дурново. Вопрос о том, как сложатся отношения при существовании представительного учреждения, меня очень интересовал. Я постарался достать книги, в которых описывается жизнь в конституционных странах, – но мне было не совсем ясно, как применена будет конституция к русским отношениям. Именно с этим вопросом я и обратился к Дурново, прося его мне разъяснить, с какими партиями правительство согласно будет работать и с какими партиями для правительства сотрудничество невозможно. Отчетливо помню, как поразил меня ответ Дурново:

– О каких партиях вы говорите? Мы вообще никаких партий в Думе не допустим. Каждый избранный должен будет голосовать по своей совести. К чему тут партии?

Мне стало ясно, что для новых условий Дурново еще меньше подготовлен, чем я.

Глава 8

НАШ ВРАГ

Арестом Совета рабочих депутатов, подавлением московского восстания, ликвидацией частичных восстаний и бунтов, вспыхивавших то тут, то в армии или в деревне, удачно закончилось контрнаступление правительства, когда оно вернуло себе власть и осознало свою государственную задачу. В новую эпоху, наступившую, примерно, к моменту роспуска 1-й Государственной Думы, мы могли уже подвести итоги, свидетельствовавшие, что борьба с массовым движением увенчалась успехом, что революция на данной стадии подавлена, что в стране наступило относительное затишье. Правда, аппарат репрессий продолжал довольно энергично действовать. С мест приходили сведения, указывавшие на необходимость не прекращать репрессии против наиболее активных революционных элементов. В Сибири или Прибалтийском крае приходилось еще действовать карательными экспедициями. Но новая полоса, в которую мы вступали с лета 1906 года, уже не таила в себе непосредственной и грозной опасности развала, а, может быть, и гибели государства, перед которой мы еще вот недавно стояли, порой в растерянном и даже беспомощном состоянии.

Оглядываясь назад, я вспоминаю, какое грозное и бурное время переживала Россия в течении 1905-06 годов. Начиная с злосчастного красного воскресенья, вся страна находилась непрерывно в состоянии революционного волнения. В течении этого времени вряд ли выпадал на мою долю такой день, когда бы мне при очередных докладах не приходилось узнать про то или иное революционное выступление – про стачки и демонстрации рабочих, про митинги студентов, про антиправительственные резолюции представителей свободных профессий. Во главе всего этого движения стояли революционные партии – социал-демократы, социалисты-революционеры, анархисты, буржуазные либералы, которые создали свою собственную тайную организацию под названием „Союз Освобождения", позднее преобразовавшуюся в конституционно-демократическую партию. И что было самым опасным в это время – эти революционные партии находили активную поддержку среди всего населения,

даже в таких слоях его, которые, казалось бы, ни в коем случае не могут сочувствовать целям этих партий. Мы, на ком лежала задача охранения основ государственного порядка, были совершенно изолированны и одиноки. Тяжело признаваться, мне редко приходилось встречать людей, которые были бы готовы из убеждения, а не для извлечения материальных выгод (таких людей было не мало!) оказывать нам активную поддержку в деле борьбы против революции. А революционеры, которые стремились не только свергнуть правительство царя, но решительно боролись против самых основ существующего строя, всюду встречали поддержку и сочувствие. Достаточно сказать, что известный московский миллионер Савва Морозов, владелец крупнейших текстильных фабрик, на которых он жестоко притеснял и обирал рабочих, – жертвовал многие тысячи рублей на пропагандистскую деятельность социал-демократических большевиков. О том, что вся интеллигенция была на стороне революционеров, едва ли нужно особо говорить. Дело доходило до того, что знаменитый Шаляпин со сцены императорского театра и под бурные овации переполненной аудитории исполнял революционные антимонархические гимны, а не менее знаменитый писатель Леонид Андреев предоставлял свою квартиру для тайных собраний центрального комитета социал-демократической партии.

Особенными симпатиями среди интеллигенции и широких обывательских, даже умеренных слоев общества пользовались социалисты-революционеры. Эти симпатии к ним привлекала их террористическая деятельность. Убийства Плеве и великого князя Сергея подняли популярность социалистов-революционеров на небывалую высоту. Деньги в кассу их центрального комитета притекали со всех сторон и в самых огромных размерах. По сведениям, которые я тогда получал от моих агентов, в конце 1905 года в этой кассе имелось что-то около 400 тысяч рублей, что давало этой партии возможность развивать широкую деятельность и заваливать своими прокламациями и газетами буквально всю Россию.

В начале 1906 года самый острый период болезни, поразившей страну, уже был позади. Решительные, энергичные действия правительства в декабре 1905 года в известной мере переломили настроение. Общество, постепенно преодолевая гипноз революционных идей и лозунгов, отходило от революционных партий и если далеко еще не перешло на сторону правительства, то в то же время надолго отрекалось от какой бы то ни было поддержки революционеров. Конечно, среди рабочих, студенчества, даже в армии еще были сильны элементы революционного брожения, но все это не шло ни в какое сравнение с 1905 годом. Это изменение условий и всей обстановки почувствовали и не могли не почувствовать революционные партии. Они вынуждены были на опыте ощутить реальные границы своих собственных сил. Они не могли не видеть краха и гибели вызванного ими к жизни массового движения. Но, не мирясь с этим фактом,

они стали искать способов вновь оживить движение, и для этой цели особенные усилия стали прилагать к развитию единоличного террора и других так называемых боевых выступлений. Эту задачу, в соответствии с своим прежним опытом, поставила перед собой прежде всего партия социалистов-революционеров.

В соответствии с этим изменившимся характером деятельности революционных партий, изменялись и задачи политической полиции. Особенно необходимым стало добиться такого положения, при котором я был бы осведомлен о тайных планах всех руководящих революционных организаций и потому имел бы возможность расстраивать те из этих планов, которые были наиболее опасны для государства. Эта задача и определила характер реформ, которые я стал проводить в возглавляемой мною петербургской политической полиции.

Аппарат Охранного отделения был очень велик. Под моим начальством находилось не менее 600-700 человек. Здесь были и уличные агенты (филеры, свыше 200 человек), и охранная команда (около 200 человек), и чины канцелярии (около 50 человек) и т. д. Верхушку составляли жандармские офицеры, прикомандированные к Охранному отделению (их было человек 12-15), и кроме этого чиновники для особых поручений (5-6 человек). Такое количество служащих мне казалось вполне достаточным для осуществления задач, стоявших перед политической полицией в Петербурге, — но личный состав был далеко не удовлетворителен. Очень многих пришлось удалить, прежде чем удалось подобрать такой состав, который стал послушным и точным орудием в моих руках. Много пришлось поработать и для того, чтобы подтянуть дисциплину среди служащих. Эта дисциплина стояла вначале далеко не на нужном уровне. Я уже упоминал, что и у нас едва ли не дошло до стачки филеров: когда летом 1905 года один из них был убит на окраине города революционерами, то остальные пытались устроить совещание и выработать требования, чтобы их не заставляли ходить в рабочие предместья, особенно по ночам... Конечно, я со всей решительностью добился тогда полного подчинения, и больше разговоров о таких требованиях не возникало.

Но самой главной моей задачей было хорошо наладить аппарат так называемой секретной агентуры в рядах революционных организаций. Без такой агентуры руководитель политической полиции все равно как без глаз. Внутренняя жизнь революционных организаций, действующих в подполье, это совсем особый мир, абсолютно недоступный для тех, кто не входит в состав этих организаций. Они там в глубокой тайне вырабатывали планы своих нападений на нас. Мне ничего не оставалось, как на их заговорщицкую конспирацию отвечать своей контр-конспирацией, — завести в их рядах своих доверенных агентов, которые, прикидываясь революционерами, разузнавали об их планах и передавали бы о них мне.

Такие агенты были у петербургской охраны и до меня – но их было очень мало, никакой руководящей роли они не играли, и работа с ними была вообще поставлена крайне скверно.

Выше я уже рассказал, как при моем первом посещении Охранного отделения я натолкнулся на сценку, как один офицер беседовал в общей комнате с секретным агентом. Это нарушало все правила осторожности, которые были установлены для сношений руководителей политической полиции с их секретными агентами, и показало мне, на каком уровне стояло это дело в петербургской охране. Поэтому при первой же возможности я лично принялся за радикальную ревизию всей секретной агентуры. Все офицеры, имевшие сношения с агентами, должна были представить мне таковых. Это был, так сказать, генеральный им смотр. Увы, результаты смотра показали, что дело обстояло еще хуже, чем я думал. Если не считать некоторых агентов из числа рабочих разных заводов, которые могли быть использованы для получения внутренней информации о настроениях на фабриках и заводах, вся остальная агентура состояла из людей, ничего не знавших и ни на что не пригодных. Все они только даром казенные деньги получали – и мне не оставалось ничего иного, как всех их попросту прогнать. Исключение я сделал только для одного молодого студента, который был завербован в число агентов и у которого были некоторые знакомства с революционно настроенными студентами. Его я взял под свое руководство – и после из него выработался весьма полезный для меня работник.

Всех остальных агентов приходилось искать наново. Кое-кого я перетащил в Петербург из Харькова, где у меня было несколько хороших старых агентов. Но главные были завербованы наново. Для этого я отдал надлежащие указания тем офицерам, которые вели допросы арестованных. Сам я обычно таких допросов не производил. Но если офицеры докладывали мне, что тот или иной из арестованных при допросах обнаруживает склонность к откровенным разговорам и оказывается неустойчивым в своих революционных симпатиях, то я, – если только этот арестованный по своим знакомствам в революционном мире представлял для меня интерес, – непременно шел на личную беседу с ним. Если эта беседа подтверждала первоначальное впечатление, то я не жалел времени для „обработки" этого арестованного. Конкретные аргументы, которые я выдвигал во время этих бесед, бывали различны. Некоторых пугала тяжесть наказания, других соблазняли деньги, третьих на этот путь толкали личные антипатии против тех или иных революционеров... Но особенно ценными, как показывал мой опыт, бывали люди, которые в силу тех или иных причин искренне разочаровались в революционном движении. На беседы с такими я не жалел времени, стараясь всеми силами склонить их на свою сторону, – и должен сказать, что в целом ряде случаев мне удавалось приобретать исключительно полезных и ценных агентов. К концу моей работы в Охранном от-

делении я имел в общей сложности не меньше 120-150 таких агентов во всех революционных и оппозиционных партиях, – среди с.-д., с.-р., максималистов, анархистов, даже среди умеренных либералов, так называемых кадетов, и через них бывал осведомлен о всем важнейшем, что творилось в тайниках революционного подполья. Все эти агенты были разбиты на группы – по партиям, в рядах которых они числились, – и находились в заведывании соответствующих офицеров, которые поддерживали с ними регулярные сношения. Конечно, в Охранное отделение никто из них не ходил. Для встреч были заведены особые конспиративные квартиры в разных частях города, – каждая из таких квартир была известна не больше чем 3-5 секретным агентам, причем им строжайше было запрещено являться на эти квартиры иначе, как в точно им для того назначенные часы: таким путем устранялась возможность их встреч друг с другом: один агент ни в коем случае не должен был знать в лицо кого-либо из других агентов. С особо важными агентами, которые имели то или иное отношение к центральным организациям, сношения поддерживал я сам непосредственно. Таких агентов было 5-7, причем для свиданий с каждым из них у меня была особая квартира.

Считаю уместным здесь отметить, что не все секретные сотрудники центрального значения, которые работали под моим руководством в 1906-09 годах, были позднее (после революции 1917 года) раскрыты. Дело в том, что в дни революции архив Петербургского Охранного отделения почти целиком погиб, а в Департаменте Полиции, по сведениям которого были опубликованы имена большинства петербургских агентов, о них ничего не было известно. Сношения с этими агентами поддерживал я лично, никто другой их не знал. Когда же я уходил с поста начальника Охранного отделения, я предложил наиболее ответственным из своих агентов решить, хотят ли они быть переданными моему преемнику или предпочитают службу оставить совсем. Целый ряд этих агентов прекратили свою полицейскую работу одновременно с моим уходом, и их имена до сих пор не раскрыты.

Условия моей работы по руководству Охранным отделением за весь период, когда мне приходилось действовать при П.А.Столыпине, самым благоприятным образом отразились на разрешении задачи, которую я выше формулировал. В этих целях большое значение имел тот факт, что я в своей работе не был подчинен никакому контролю со стороны Департамента Полиции. Скорее наоборот – Департамент Полиции находился под моим контролем в тех областях его работы, которые меня особенно интересовали. Это положение в известной мере учитывалось и руководителями охранных отделений на местах, которые все больше начинали рассматривать Петербургское Охранное отделение как наиболее влиятельный и фактический центр всего политического розыска в империи. Столыпин понимал чрезвычайную важность концентрации именно в столичном

охранном отделении всех вопросов, связанных с революционным движением, и оказывал этой тенденции самую активную поддержку.

Вопрос о правильной постановке центральной внутренней агентуры в революционных партиях, вследствие официальной позиции, занятой по отношению к нему Департаментом Полиции, находился в самом неудовлетворительном положении. Департамент Полиции чрезмерно ограничивал роль и характер отношений своего секретного агента в отношении революционной организации. Такой агент не мог входить в революционную организацию и не мог непосредственно участвовать в ее деятельности. Он должен был только использовать в частном порядке свои личные знакомства, отношения и связи с революционными деятелями. Если еще допускалось вхождение во второстепенные организации и выполнение второстепенных функций, то абсолютно исключалось участие агентов в центральных, руководящих органах или предприятиях революционных партий, – что фактически означало неосведомленность о деятельности их. Конечно, этот общий подход терпел на практике значительные изменения. Фактически секретные агенты часто и входили в состав революционных партий, и вели там работу, – и Департамент Полиции, смотря на это по существу сквозь пальцы и терпя нарушение установленных норм, лишь формально прикрывался незнанием действительных отношений.

Я считал эту официальную позицию и неправильной, и грозящей серьезными последствиями. Я полагал, что задача политической полиции не попустительствовать таким нарушениям установленных норм, но ясно и определенно видеть свою задачу в том, чтобы ввести своих секретных агентов в самые центры революционных организаций, держать их там под контролем (в частности путем постановки тщательно-налаженного взаимного контроля нескольких агентов, не знающих о существовании друг друга) и таким образом быть осведомленным самым точным образом о деятельности и планах революционных центров и иметь возможность в нужный момент помешать этим планам и приостановить эту деятельность.

В связи с этим я пришел к выводу о необходимости изменить и отношение политической полиции к тем революционным центрам, где находились мои секретные агенты. По системе Зубатова, например, задача полиции сводилась к тому, чтобы установить личный состав революционной организации и затем ликвидировать ее. Моя задача заключалась в том, чтобы в известных случаях оберечь от арестов и сохранить те центры революционных партий, в которых имелись верные и надежные агенты. Эту новую тактику диктовал мне учет существующей обстановки. В период революционного движения было бы неосуществимой, утопической задачей переловить всех революционеров, ликвидировать все организации. Но каждый арест революционного центра в этих условиях означал собой срыв работы сидящего в нем секретного агента и явный ущерб для всей рабо-

ты политической полиции. Поэтому не целесообразнее ли держать под тщательным и систематическим контролем существующий революционный центр, не выпускать его из виду, держать его под стеклянным колпаком – ограничиваясь преимущественно индивидуальными арестами. Вот в общих чертах та схема постановки политического розыска и организации центральной агентуры, которую я проводил и которая, при всей сложности и опасности ее, имела положительное значение в борьбе с возобновившимся единоличным террором.

Как я уже говорил, особенно опасными из всех революционных групп с моей точки зрения были тогда социалисты-революционеры, которые вновь вернулись к подготовке и организации покушений против жизни руководителей правительства. Как известно, эта партия официально, со своего возникновения в начале 1902 года, признала террор одной из главных своих задач. Для этой цели ею была создана особая Боевая Организация, находившаяся в партии на особом привилегированном положении: даже центральный комитет партии, руководивший ее деятельностью вообще, не был посвящен в подробности внутренней жизни и планов Боевой Организации и не был осведомлен об ее личном составе. Члены ЦК знали только 2-3 человек из этой Боевой Организации – тех, которые входили в состав ЦК, представляя в нем интересы БО. Конечно, и эти лица были известны не по их настоящим фамилиям – а по партийным псевдонимам: в революционных партиях тогда все члены бывали известны только по псевдонимам. Имена этих официальных представителей БО были довольно широко известны в партии – и мои агенты мне их весьма скоро сообщили: это были „Павел Иванович" (под этим псевдонимом скрывался Б.В.Савинков, которого я тогда считал главным руководителем БО) и „Иван Николаевич" (о том, что это был псевдоним Азефа, я узнал только много лет спустя). Подвести моих агентов как можно ближе к этой организации и через них получать хотя бы самые общие сведения относительно планов последней было в это время моей главнейшей заботой. Но при конспиративности, которой была окружена БО, это было делом очень трудным. В течении ряда месяцев я постепенно старался достигнуть этой цели, подводя одного из моих агентов к некоторым из членов Центрального Комитета. Для этого я предоставил ему возможность оказывать этим лицам ценные услуги – не арестовывая их самих. И он был уже очень близок к цели: ему даже предложили войти в состав БО, – но в это время нужды в таком вступлении у меня уже не было: представителем БО, который предложил моему агенту войти в БО, был никто иной, как Азеф, – к этому времени уже работавший под моим руководством. Поэтому я заставил своего агента отклонить предложение. При наличии в БО Азефа второй агент мог быть только вреден...

Глава 9

ГАПОН – АГЕНТ ПОЛИЦИИ

Не помню, с какого времени я стал получать регулярные сведения об образе жизни и деятельности Гапона после бегства за границу. Он объехал всю Европу, посетил русские эмигрантские колонии в Женеве, Цюрихе, Париже, Лондоне, Брюсселе и буквально грелся в лучах своей мировой славы. Этому тщеславному человеку было лестно вновь и вновь слышать подтверждения своих героических подвигов: однако и более реальные радости имели для него свою привлекательность. В Париже и Монте-Карло в женском обществе он швырял по сторонам крупные суммы, которые притекали в его кассу частью от доходов от воспоминаний, вышедших на всех европейских языках, частью от взносов свободолюбивых иностранцев, а частью из секретного фонда японского правительства. Эти сведения говорили мне, что судьба революционера Гапона не должна меня особенно озабочивать. Он не грозит никакой опасностью государственному порядку.

Случилось, однако, так, что в декабре 1905 года Гапон вновь очутился в Петербурге, но уже не в качестве призванного вождя революции, а в качестве – секретного сотрудника Департамента Полиции. С.Ю. Витте, тогдашний председатель Совета министров, лелеял старую мысль, в свое время столь несчастливо испробованную на опыте Зубатовым, попытаться в противовес революционным партиям создать рабочее движение, идущее в лояльном, правительственном русле. Для руководства таким преданным правительству рабочим движением он счел подходящим Георгия Гапона, заграничный образ жизни которого ему был известен. Витте командировал в Монте-Карло к Гапону своего секретаря Мануйлова, снабженного деньгами и заманчивыми предложениями. И вот Гапон прибыл в Петербург и приступил к воссозданию своей рабочей организации. На это дело он получил от Витте из сумм секретного фонда Совета министров 30.000 рублей.

Известие о неожиданном превращении героя красного воскресенья чрезвычайно изумило меня. Когда я узнал, что Гапон вернулся на родину с согласия председателя Совета министров, я тотчас об-

ратился к П.Н. Дурново, тогдашнему министру внутренних дел и моему непосредственному начальству, с изложением тех возражений, которые у меня имелись против пребывания Гапона в Петербурге. Я настаивал на аресте и предании суду Гапона в связи с его ролью в событиях 9/22 января. Дурново был с этим согласен, однако считал нужным предварительно запросить мнения Витте.

После беседы с Витте Дурново сообщил мне, что о Гапоне решено, что он под контролем властей будет руководить своей рабочей организацией и в то же время работать для политической полиции. При этих условиях я могу дать согласие на пребывание Гапона в Петербурге.

Хорошо, – думал я, – подождем и посмотрим, что этот человек будет тут делать.

Гапон был подчинен вице-директору Департамента полиции, Рачковскому, которому он выразил готовность выдать все известные ему секретные дела партии социалистов-революционеров. Для честолюбивого Рачковского, действовавшего в интересах своего нового начальника Дурново, не было, конечно, более важной задачи, чем открытие и обезврежение боевой организации социалистов-революционеров. Мы знали, что петербургская боевая организация вернулась к своему старому плану – к подготовке террористического покушения на Дурново, и работает над его осуществлением. Дурново непрестанно настаивал на скорейшем аресте петербургских террористов. Но как арестовывать людей, которые абсолютно неизвестны?

Рачковский все свои надежды возлагал на Гапона. Не зная, что Гапон пользуется у революционеров чрезвычайно малым весом, он принимал этого говоруна всерьез. В сущности он принимал в свои секретные сотрудники человека, о котором почти ничего не знал, – кроме того, что тот однажды сыграл роль революционного вождя, а теперь полюбил вольготную жизнь, вино и женщин. Можно ли было что-нибудь строить на такой основе?

Как же однако обстояло с Гапоном в роли вождя рабочего движения? В созданной им на деньги, отпущенные Витте, рабочей организации начались глубокие внутренние конфликты. Кассир Матюшенский бежал, похитив 23.000 рублей. Многие члены правления, привлеченные Гапоном из числа его прежних друзей, своим поведением возмущали других. Сам Гапон имел несколько громких историй по женской части, и те несколько человек, которые серьезно относились к работе в организации, со все возрастающим разочарованием наблюдали его деятельность. Один из них, рабочий Черемухин, который относился к Гапону еще до 9/22 января с исключительным обожанием, впал в отчаянье и покончил с собой.

Конечно, все это не осталось тайной для партии социалистов-революционеров. Как раз в этой партии, с которой Гапону удавалось до сих пор поддерживать самые лучшие отношения, он потерял вся-

кую почву под собой. Он не мог выдать ее секретов, потому что не был в них посвящен. Соблазненный и подгоняемый Рачковским, Гапон пришел тогда к мысли привлечь в качестве компаньона для службы в тайной полиции своего старого друга Петра Рутенберга, — того самого, который спас ему жизнь в красное воскресенье. И это было началом его конца.

Рачковский вел переговоры с Гапоном относительно выдачи боевой организации. Он знал, что Гапон заставит подороже себе заплатить. Но за это дело стоило заплатить! Предложение Гапона было столь же недвусмысленно определенно, как и его требование: он хочет выдать боевую организацию и требует уплатить за это ему 50.000 рублей и столько же, 50.000 рублей, для Рутенберга. Дурново, которому Рачковский сообщил о требовании Гапона, сделал контр-предложение: 25.000 рублей и ни копейки больше. Начался торг. Дурново посоветовался с председателем Совета министров. Витте рекомендовал соблюдать большую осторожность в отношении Гапона, но за платой ему не стоять.

Переговоры с Гапоном находились именно в такой стадии, когда Дурново запросил моего мнения. Я должен был ему сказать, считаю ли я реальным план Рачковского-Гапона-Рутенберга. Я ответил отрицательно. Поскольку я Гапона знаю, — ответил я, — я могу допустить, что он способен на любое предательство. Рутенберга же я знаю лично; во время одного допроса я обстоятельно наблюдал его и вынес впечатление, что это непреклонный человек и убежденный революционер. Смешно поверить, чтобы его удалось склонить на предательство и полицейскую работу.

У Дурново тоже зародились сомнения, и он выразил пожелание, чтобы я сам поговорил с Гапоном, дабы получить непосредственные впечатления от него. Я знал, что Рачковский в качестве моего начальника будет недоволен, если я в известной мере буду его контролировать. Но Дурново настаивал. Вопрос был слишком серьезный.

Так произошла моя встреча с Гапоном в присутствии Рачковского. Последний, будучи явно в страхе, что Гапон будет слишком мало говорить, вместо того чтобы бояться, что он может чересчур много наболтать, — стремился развязать ему язык и устроил обед в отдельном кабинете Кафе де-Пари, элегантнейшем ресторане Петербурга, — приказав при этом сервировать стол всем, что есть лучшего и дорогого в ресторане.

Гапон разочаровал меня с первого взгляда. Я слышал о проникновенном воздействии его личности на души. Я видел также часто его портрет, где он снят священником: импонирующее и красивое лицо. Я рассчитывал увидеть значительного, или, по меньшей мере, интересного человека. Как далеко отстояла действительность от этого образа!

Когда я вошел в Кафе де-Пари, Рачковский и Гапон уже сиде-

ли у небольшого, накрытого на три персоны и уставленного яствами и питиями стола. Рачковский представил мне Гапона. В то время, как мы обменивались малозначащими общими словами, я разглядывал его. Это человек, — сказал я себе, — который хочет быть хооршо одетым, но не умеет это надлежащим образом сделать. На Гапоне был элегантный костюм из лучшего материала. Но этот костюм казался неглаженным, а воротничок был не совсем свеж. Свою бороду, прославленную всюду на фотографиях, он заменил светской и короткой эспаньолкой; на помятом и одутловатом лице сверкали только глаза. В общем же он был скорее похож на коммивояжера, нежели на народного трибуна, воспламеняющего сердца.

Я спрашивал Гапона о его жизни в качестве революционера. Гапон разговорился. Он рассказывал заметно охотно, хвастливо преувеличивая и стремясь вызвать у меня убеждение, что он все знает, все может, что все двери перед ним открыты. Мне скоро стало ясно, что он, если даже и видел немало, то плохо ориентировался и неправильно понял многое. В сущности, люди, о которых он говорил, были ему чужды. Он не понимал их поступков и мотивов, которые ими руководят... Особенно он распространялся на тему о том, имеют ли они много или мало денег, хорошо или плохо они живут, — и глаза его блестели, когда он рассказывал о людях с деньгами и комфортом.

Внезапно я его спросил, верно ли, что 9/22 января был план застрелить Государя при выходе его к народу. Гапон ответил:

— Да, это верно. Было бы ужасно, если бы этот план осуществился. Я узнал о нем гораздо позже. Это был не мой план, но Рутенберга... Господь его спас...

Больше всего Гапон говорил о Рутенберге. В его изображении Рутенберг играл главную роль в революционном движении. Он был руководителем боевой организации. Но в глубине своего сердца он потерял веру в победу революции. За крупную сумму он, наверное, будет готов предать революционеров. Так говорил Гапон.

Все это уяснило мне, что Гапон просто болтает вздор. Нет сомнений, что он готов все и всех предать, но — он ничего не знает. Мое впечатление укрепилось: это — неопасный враг, бесполезный друг.

Мы беседовали около двух часов. На 11 часов вечера было назначено мое свидание с Дурново, которому я должен был доложить об этой беседе. Я поднялся к выходу. Рачковский хотел меня удержать, сообщив, что он только что заказал шампанское. Я отказался и ушел.

На прощанье я в первый раз поймал взгляд Гапона. Он хотел узнать, какое впечатление он произвел на меня. Он знал, что от меня зависит, состоится ли его сделка с полицией.

Я прямо отправился к Дурново и заявил ему в категорической форме:

– Укажите Рачковскому, что необходимо прекратить все его усилия. Гапон не стоит ни одной копейки.

Узнав от меня, как протекала наша беседа, Дурново согласился с моей оценкой. Он хотел, чтобы я в присутствии Рачковского высказал свои окончательные впечатления. Мы встретились вместе. Рачковский был чрезвычайно недоволен:

– Я старше вас и имею большой опыт, – сказал он. – Как можете вы утверждать, что этот план никуда не годится, в то время как я считаю его серьезным?

На этот раз Рачковский одержал верх. Дурново почувствовал себя связанным. Он знал, что боевая организация преследует его по пятам. Поэтому он решил опыт с Гапоном продолжать и сказал Рачковскому:

– Итак, действуйте, как считаете правильным, – но только скорее, возможно скорее!

Действительно, подготовка покушения на Дурново шла полным ходом. Будучи постоянно информированным о грозящей министру опасности, я выполнял чрезвычайно неприятную задачу запрещать ему выезды из дому и напоминать о необходимости соблюдать осторожность. Однажды вечером я позвонил ему и советовал отказаться от намеченного им визита к приятельнице, так как я имел все основания считать, что террористы его в этот вечер подкарауливают. Дурново пришел в неописуемый гнев. По телефону он кричал:

– Чорт возьми, ведь я уже ужин заказал!

Но так как я, в случае выполнения им намеченной вечерней программы, снимал с себя всякую ответственность, Дурново в конце концов остался дома.

В то самое время, когда боевая организация готовила покушение на Дурново, Гапон вступил в переговоры с Рутенбергом, суля ему золотые горы, если он перейдет на сторону полиции. Как я и предполагал, это предприятие не увенчалось успехом, но я не предвидел, что для Гапона оно так катастрофически закончится. Рутенберг сделал вид, что он готов принять предложение Гапона. Тотчас же после первого разговора с Гапоном он уведомил центральный комитет партии социалистов-революционеров, что Гапон стал агентом полиции. Центральный Комитет вынес Гапону смертный приговор и возложил выполнение его на самого Рутенберга. Он должен был заявить о своей готовности встретиться с Рачковским в присутствии Гапона и при этой оказии убить обоих.

Один из моих агентов доложил мне в наиболее существенных чертах об этом плане двойного покушения – на Рачковского и Гапона. Я позвонил Рачковскому и осведомился, насколько двинулся вперед Гапон со своей работой. Рачковский ответил:

– Дело идет хорошо, все в порядке. Как раз на сегодня условлена моя встреча с Гапоном и Рутенбергом в ресторане Контана. Хотите и вы придти?

— Нет, я не приду, — сказал я, — и я советую также вам не ходить. Мои агенты сообщили мне, что на вас организуется покушение.

Рачковский:

— Но... как можете вы этому верить? Прямо смешно!

— Как вам угодно будет, — сказал я.

Я повесил трубку, но какое-то внутреннее беспокойство побуждало меня еще раз позвонить Рачковскому. Его не было дома. У телефона была его жена, француженка. Со всей настойчивостью я предложил ей удержать мужа от посещения Контана. Там грозит ему несчастье. Она обещала мне. Вечером я отправил в ресторан сильный наряд полиции и чинов охраны. Они видели, что Гапон и Рутенберг вошли в отдельный кабинет ресторана, специально заказанный Рачковским. Соседний кабинет был занят каким-то подозрительным обществом. Рачковский не явился.

Когда Рутенбергу стало ясно, что Рачковский и в дальнейшем не придет на свидание с ним, он решил покончить с Гапоном. Он приступил к делу с величайшей оглядкой и расчетливостью. Позже он рассказал своим друзьям о последнем акте гапоновской трагедии.

10 апреля 1906 года Рутенберг привез Гапона в Озерки на пустую дачу у финской границы, якобы для оформления переговоров о поступлении на службу в полицию и о размерах той суммы, которую надо получить за выдачу боевой организации. В соседней комнате Рутенберг припрятал группу рабочих, которая через дверь слушала весь разговор его с Гапоном и пришла в ужас от того, что услышала. Гапон уговаривал Рутенберга согласиться на предложение Рачковского и взять 25.000 рублей. Затем, в ответ на наводящие вопросы, перед лицом подслушивающих свидетелей из слов Гапона развернулась не вызывающая никаких сомнений сцена полного разоблачения Гапона в качестве агента Департамента Полиции, готового все и вся продать в руки последнего. Когда Рутенберг поставил Гапону в упор последний вопрос: „Ну а если я приду к товарищам и сообщу им, что ты меня обратил в агента полиции и что ты хочешь выдать полиции Боевую Организацию?" — и Гапон в прежнем тоне ответил: „Никто тебе не поверит. Все сочтут тебя идиотом, а я буду все отрицать", — тогда Рутенберг больше не мог выдержать. Он отворил дверь в соседнюю комнату и позвал сидящих там рабочих, не проронивших ни слова из признаний Гапона.

Не слушая объяснений и причитываний, рабочие связали его, накинули петлю на шею, и в 7 часов вечера все было кончено. Труп прославленного недавно еще вождя красного воскресенья, а затем агента Рачковского лицом к стене висел в заброшенной даче в Финляндии свыше целого месяца, и прошло изрядное время, прежде чем мы узнали о печальном конце Гапона.

Рачковский, правда, всячески опасался, что с ним что-то случилось, так как в течение долгих дней о нем не было никаких изве-

стий, – но особенно он этим делом уже не интересовался. Его интерес к грандиозному проекту Гапона при помощи Рутенберга заполучить секретную центральную агентуру, которая осведомляла бы его о каждом шаге боевой организации, – значительно охладел с того дня, когда он понял, что такого рода предприятия могут грозить опасностью и ему. Мне лично, еще прежде, чем я узнал о событиях на даче в Озерках, было ясно, что в данном случае, благодаря неверному учету средств и возможностей и поспешному и глупому подбору исполнителей, здравая идея превратилась в свою полную противоположность. Когда затем я неожиданным и странным образом узнал страшную истину, я сделал из нее только вывод, что такое чрезвычайно важное орудие в наших руках, само по себе имеющее все шансы на успех, как секретная агентура во вражеском стане, требует при своем применении большой осторожности, – и в неумелых руках оно легко превращается в орудие только для нанесения ущерба нам самим. Ведь только по счастливой случайности Рачковский, вогнавший Гапона в ужасную смерть, сам не разделил его участь. Мы больше не говорили с Рачковским об этом деле. Случай с Гапоном никак не является славной страницей в истории Департамента Полиции.

Глава 10

ЗНАКОМСТВО С ЛУЧШИМ ИЗ МОИХ СОТРУДНИКОВ

Уже более года я нахожусь на посту начальника Петербургского Охранного отделения. Целый ряд вполне подготовленных и опытных секретных сотрудников доносят мне о том, что происходит в революционных кругах. Часто мне приходится слышать от них имя Ивана Николаевича, принадлежащее человеку, руководящему Боевой Организацией. Более точных сведений не удавалось о нем получить, хотя бы установить, по меньшей мере, его настоящее имя. Ведь даже в самых тесных кружках партии руководители выступали под псевдонимами, и часто – одновременно под несколькими. В этом хаосе имен было нелегко ориентироваться. Случай, который мне хотелось бы назвать приятным, дал мне возможность проникнуть в эту тайну.

Это было в середине апреля 1906 года, когда мы настойчиво искали следы людей, готовивших покушение на Дурново. Мы знали, что наблюдение за домом Дурново ведут террористы, переодетые извозчиками. Давно уже поняв, что Боевая Организация посылает своих людей на дело под видом извозчиков, политическая полиция вела наблюдение за постоялыми дворами, где жили извозчики, и содержатели этих дворов должны были постоянно информировать полицию обо всех извозчиках, которые по образу жизни, по внешнему виду, поведению бросаются в глаза и кажутся подозрительными. В результате тщательного наблюдения один из филеров заметил такого „странного" извозчика, который останавливался неподалеку от дома, где проживал Дурново, и весьма упорно оставался на этом дежурном пункте. Прошло еще некоторое время, и моим агентам удалось напасть на след еще двух террористов, наблюдавших в качестве „извозчиков" за Дурново и сносившихся между собою. Над этими тремя наблюдателями мы установили свое контр-наблюдение, которое обнаружило, что все три „извозчика" поддерживают связь с четвертым лицом, которое явно играет роль руководителя всей группы. Другого не оставалось сделать, как арестовать всех четырех, и я собирался отдать об этом распоряжение. Но в самое это время возникло одно непредвиденное обстоятельство.

Дело в том, что один из старших филеров, руководивший наблюдением за этой группой террористов, в своих ежедневных рапортах называл четвертого террориста, который поддерживал сношения с „извозчиками", — „наш Филипповский", — что мне, конечно, не могло не броситься в глаза. Я вызвал его для объяснений, и тот мне доложил, что четвертого из наблюдаемых он знает уже давно, что лет 5-6 тому назад ему показал его в Москве Е. Медников в кондитерской Филиппова (отсюда и имя: „Филипповский"). По словам Медникова, этот Филипповский — один из самых важных и ценных секретных сотрудников. Поразительное известие! Мне не приходилось никогда слышать об агенте с таким именем.

Было однако ясно, что при этих условиях не приходилось и думать об аресте террористической группы. Не мог же я арестовывать своих собственных людей. Не зная, как поступить, я прежде всего отправился в Департамент Полиции, чтобы выяснить, кто такой этот загадочный „Филипповский" и каковы его отношения с Департаментом. Я сделал этот шаг еще и потому, что вообще считал неправильным ведение Департаментом своей секретной агентуры в Петербурге и все время настаивал на передаче ее целиком мне. На мой вопрос Рачковский ответил самым категорическим образом отрицательно, не допуская и мысли, чтобы кто-нибудь из его агентов мог оказаться в конспиративной связи с террористами, готовившими покушение на Дурново. Несмотря на решительные заверения, я настойчиво просил проверить, чтобы не было недоразумения: может быть, это какой-то агент Департамента, известный под другим именем? Или случайно затесавшийся сотрудник из заграничной агентуры? Но Рачковский уверял, что никакого его агента около Боевой Организации нет и не может быть.

Необъяснимый случай! Департамент Полиции ничего не знает о нем. Но в то же время показания опытного и преданного филера игнорировать абсолютно невозможно. И я решил взять быка за рога и выяснить вопрос в личном объяснении с самим „Филипповским". Я отдал приказ филерам немедленно арестовать его, но так, чтобы этот факт остался незамеченным для других террористов и вообще не получил огласки, — и доставить его ко мне. Так и было сделано. Примерно 15 апреля мои филеры подстерегли „Филипповского" на одной из безлюдных улиц, схватили его под руки и честью попросили следовать за ними. „Филипповский" протестовал, но тем не менее был деликатно посажен в заранее приготовленную закрытую пролетку и доставлен ко мне. Я ждал его со все возрастающим нетерпением. Этот таинственный случай интересовал меня в чрезвычайной степени.

В Охранном отделении разыгралась короткая, но оживленная сцена. Арестованный предъявил паспорт и документы.

— Я — инженер Черкас. Меня знают в Петербургском обществе. За что я арестован?

Он кричал, грозил прессой, ссылался на именитых друзей.

Я дал ему выговориться, а затем коротко сказал:

– Все это пустяки. Я знаю, вы раньше работали в качестве нашего секретного сотрудника. Не хотите ли поговорить откровенно?

„Филипповский-Черкас" был чрезвычайно поражен:

– О чем вы говорите? Как это пришло вам в голову?

– Это безразлично, – ответил я. – Скажите: да или нет?

Он сказал: нет, но это „нет" звучало весьма неуверенно.

У меня не было никаких сомнений в том, что мой наблюдатель меня правильно информировал. Я был в решимости раскрыть до конца тайну этого таинственного человека.

– Хорошо, – сказал я спокойно. – Если не хотите сейчас говорить, вы можете еще подумать на досуге. Мы можем не спешить. Вы получите отдельную комнату и можете там подумать. А когда надумаете, скажите об этом надзирателю.

„Филипповский" был уведен и посажен в одну из одиночек Охранного отделения. Прошло два дня. Я ждал с нетерпением известий из его камеры. Наконец, он сообщил, что хочет говорить со мной. Я вызвал его тотчас, и первые слова его были:

– Я сдаюсь. Да, я был агентом полиции и все готов рассказать откровенно. Но хочу, чтобы при этом разговоре присутствовал мой прежний начальник, Петр Иванович Рачковский.

Из тона последней фразы я вынес впечатление, что эта беседа для Рачковского не будет слишком приятной. С тем большим удовольствием я позвонил Рачковскому:

– Петр Иванович, мы задержали того самого „Филипповского", о котором я вас спрашивал. Представьте, он говорит, что хорошо вас знает и служил под вашим начальством. Он сейчас сидит у меня и хочет говорить в вашем присутствии. Не придете ли вы сейчас ко мне?

Рачковский, как обычно, притворился ничего не ведающим и завертелся: что, да как, и в чем именно дело? Какой это может быть „Филипповский"? Я не могу такого припомнить... Разве что Азеф?

Тут я впервые в своей жизни услышал эту фамилию.

Прошло 15 минут, и Рачковский явился в Охранное отделение. С обычной своей сладенькой улыбочкой он разлетелся к „Филипповскому", протягивая ему, как при встрече со старым другом, обе руки.

– А, мой дорогой Евгений Филиппович, давненько мы с вами не видались. Как вы поживаете?

Но „Филипповский" после двух дней скудного арестантского питания обнаруживал мало склонности к дружеским излияниям. Он был чрезвычайно озлоблен и не скрывал этого. Только в самой смягченной форме можно было бы передать ту площадную ругань, с которой он обрушился на Рачковского. В своей жизни я редко слышал такую отборную брань. Даже на Калашниковской Набереж-

ной не часто так ругались. „Филипповский" обвинял Рачковского в неблагодарности, в бесчеловечности и вообще во всяких преступлениях, совершать которые способен был только самый бессовестный человек.

– Вы покинули меня на произвол судьбы, без инструкций, без денег, не отвечали на мои письма. Чтобы заработать деньги, я вынужден был связаться с террористами, – кричал на него „Филипповский".

Смущенный и сознающий свою вину, Рачковский чуть защищался, сквозь рой обрушившихся на него ругательств и обвинений бросая только слова:

– Но, мой дорогой Евгений Филиппович, не волнуйтесь так, успокойтесь!

Я слушал этот разговор, не вмешиваясь. Все мои симпатии были на стороне „Филипповского". Бессовестность Рачковского вызывала и мое возмущение. Как выяснилось, он подвергал крайней опасности одного из важнейших своих людей, оставляя его в течении долгих месяцев без средств и без всяких известий. Я сам почувствовал угрызения совести за действия Рачковского, удивляясь, что во главе руководителей политического розыска стоят такие бездарности. „Филипповский" прочитал Рачковскому надлежащую и вполне заслуженную отповедь.

Постепенно буря объяснений между „Филипповским" и Рачковским улеглась, и я счел момент подходящим, чтобы принять участие в разговоре.

– Не будем говорить о прошлом, – примирительно предложил я. – Лучше посвятим себя текущим делам. Что же мы теперь будем делать?

Когда Рачковский в течение дальнейшей беседы предложил Азефу возобновить службу в Департаменте Полиции, тот не мог подавить в себе последней вспышки злобы:

– Что же, – воскликнул он, – удалось вам купить Рутенберга?.. Хорошую агентуру вы в лице Гапона обрели?.. Выдал он вам Боевую Организацию?..

И дальше он продолжал, глядя в упор на изумленного Рачковского:

– Знаете, где теперь Гапон находится? Он висит в заброшенной даче на финской границе... вас легко постигла бы такая же участь, если бы вы еще продолжали с ним иметь дело...

Это было первое известие, которое мы получили о судьбе уже пропавшего без вести Гапона. Мы не узнали адреса дачи, на которой был убит Гапон, – в точности это знали только Рутенберг с его судьями. Мы были вынуждены поэтому обыскать все дачи под Петербургом в районе финской границы, и лишь спустя месяц было найдено тело Гапона.

По существу Азеф объяснил, что оставленный без всякого ру-

ководства Рачковским, он счел себя свободным от службы в Департаменте Полиции и нашел возможным приняться за профессиональную работу в партии социалистов-революционеров. Таковы были обстоятельства, приведшие его к связи с „извозчиками"-террористами, а затем и к приводу ко мне в Охранное отделение.

Нельзя сказать, чтобы я, присутствуя при этой сцене и при бурных объяснениях, был удовлетворен всем слышанным. Но для меня было ясно одно: что для постановки моей центральной агентуры открываются весьма благоприятные перспективы. Поэтому, когда Азеф одним из условий своего возвращения на службу в политическую полицию выдвинул получение им 5 000 рублей, — жалованье за последние месяцы, в течении которых он не имел связи с Рачковским, и дополнительная сумма на покрытие лишних расходов, — против этого мы не возражали, и мирные отношения были восстановлены.

Когда мы перешли к текущим делам, Азеф мне показался человеком, чрезвычайно информированным о положении в революционном лагере. Он подтвердил правильность имевшихся у нас сведений об „извозчиках", готовивших покушение на Дурново и сообщил некоторые новые и неизвестные до тех пор факты. Кроме того, он раскрыл нам подготовлявшееся тогда Боевой Организацией покушение на Мина и полковника Римана, подавивших в декабре 1905 года восстание в Москве, и благодаря этой информации нам удалось принять целый ряд необходимых предупредительных мер. Мы отказались от мысли немедленно арестовать террористов-„извозчиков", опасаясь таким путем скомпрометировать Азефа. Через имевшиеся у нас связи мы распространили в обществе слух о том, что полиция напала на след террористов, – и этого было достаточно, чтобы подорвать всю их работу. Я дал инструкцию агентам, ведшим наблюдение, держать себя так, чтоб обратить на себя внимание террористов. В результате террористическая группа самоликвидировалась. Мы не упускали из виду, конечно, отдельных террористов, и через несколько месяцев „извозчики" были поодиночке арестованы и осуждены.

Обо всех этих переговорах с Азефом я сделал доклад П.Н.Дурново. В этом докладе я счел необходимым изложить и свои сомнения относительно возможности успешной деятельности Азефа в качестве секретного агента, раз против него уже были подозрения в революционных кругах и раз его знали как агента не только ответственные чиновники полиции, но даже и рядовые филеры. В случае предательства Азефа может постигнуть страшная судьба: насильственная смерть.

Дурново однако мало интересовался этой стороной вопроса. Напуганный постоянной угрозой покушения на его жизнь, стесненный в передвижениях из дому настолько, что часто он бывал вынужден отказываться от выезда даже на самые интимные свидания, — он не был склонен впадать в сентиментальные соображения.

Он поэтому ясно и недвусмысленно мне сказал:

– Ведь не мы, а он рискует. Это его дело. Пусть он и думает об этом. Раз он согласен, то что же мы будем тревожиться? Время теперь беспокойное. Каждый сотрудник нужен до зарезу. Пусть работает, а там видно будет.

Таковы приблизительно были слова Дурново. Он подписал без всяких возражений приказ о выдаче 5 000 рублей Азефу...

Так началась работа Азефа со мною. Руководить его работой должен был официально Рачковский, но с тем, чтобы при свиданиях я постоянно присутствовал. Азеф оказался моим лучшим сотрудником в течение ряда лет. С его помощью мне удалось в значительной степени парализовать деятельность террористов.

Глава 11

В ДНИ ПЕРВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Открытие Государственной Думы было назначено на 26 апреля 1906 года ст.ст. Правительство Витте готовилось выступить перед ней. Помню, приблизительно за неделю до того я был у Дурново, и он говорил мне о том, как он думает наладить свои отношения с Думой. Но дни правительства Витте были уже сочтены. Я вспоминал потом, что некоторые намеки Рачковского должны были меня предупредить о готовящейся перемене, но в свое время я не обратил внимания на эти намеки. Потом я узнал, что Рачковский был одним из инициаторов отставки Витте. В этом отношении он был рупором Трепова, влияние которого к началу 1906 года очень сильно возросло. По поручению Трепова Рачковский вел разговоры с Горемыкиным, который и был предложен Государю в качестве кандидата на пост председателя Совета министров.

Отставка правительства Витте явилась для всех неожиданностью. По-видимому, Государь был не прочь, чтобы Дурново, к которому он очень хорошо относился после того, как он справился с декабрьским кризисом в Москве, остался в Совете министров, но сам Дурново был рад уйти на отдых. Он говорил мне, что он указал на Столыпина как на лучшего из всех возможных ему преемников. После выхода в отставку Дурново получил из государственных средств большую сумму денег и тотчас же уехал за границу. Иван Логгинович Горемыкин, назначенный председателем Совета министров, был человек бездеятельный, совершенно не интересовавшийся политикой. Он хотел только одного — чтобы его как можно меньше тревожили. Он меньше всего подходил для поста руководителя правительства в столь новой и сложной обстановке.

26 апреля состоялся в Зимнем Дворце высочайший прием членов Государственной Думы. Был теплый, солнечный день. На набережной Невы вдоль Зимнего Дворца стояли толпы разношерстной публики. Депутатов везли из Таврического дворца к Зимнему на особых пароходиках. На некоторых из них депутаты подняли красные знамена. Из толпы неслись приветствия. Местами запевали революционные песни. В Зимнем дворце был отслужен молебен. Царь

вышел к депутатам, желая приветствовать в них первых избранников русского народа. Но многие из этих избранников не скрывали своего резко-враждебного отношения к Монарху. На обратном пути повторились те же сцены, а около Выборгской тюрьмы, которая выходит на Неву, имели место настоящие революционные демонстрации. Я ходил наблюдать настроение. Помню затем разговоры среди знакомых. Все сходились на том, что при таком составе депутатов Россия едва ли встанет на путь желательных реформ. Первые же заседания Государственной Думы полностью оправдали эти опасения. Чем дальше, тем определеннее речи депутатов начали носить революционный характер. Министров встречали враждебно, кричали им разные оскорбительные слова, вроде „палач!", „кровопийца!". Государственная Дума становилась каким-то всероссийским революционным митингом.

К этим дням относится начало моего знакомства с Петром Аркадьевичем Столыпиным. Работа под руководством последнего принадлежит к самым светлым, самым лучшим моментам моей жизни, -- и мне о нем еще придется очень много говорить. Уже во время первого свидания Столыпин произвел на меня самое чарующее впечатление как ясностью своих взглядов, так и смелостью и решительностью выводов. Он знал обо мне от Дурново и потребовал, чтобы я представился ему немедленно после вступления его в должность. Прием длился, наверное, около часа. Я сделал обстоятельный доклад о положении дел в революционных партиях. Столыпин просил меня сноситься с ним по всем делам, касающимся политической полиции, непосредственно, минуя Департамент Полиции. Он хотел, чтобы я делал ему доклады по возможности каждый день. И, действительно, почти ежедневно после 12 часов ночи я приезжал к нему с докладом, и если меня не было, он обычно звонил и справлялся о причинах моего отсутствия. „Для вас, — заявил он мне в первую встречу, — если будет что-то экстренное, я дома во всякое время дня и ночи". Подчеркнутое Столыпиным нежелание сноситься со мной через Департамент Полиции объяснялось его отношением к Рачковскому, который в это время еще продолжал стоять во главе Департамента Полиции. Осведомленный о Рачковском от Дурново, а возможно от кого-либо еще, он относился к нему очень отрицательно и не скрывал этого своего мнения в разговорах.

Вскоре по желанию Горемыкина я должен был явиться с докладом к нему. Впечатление, вынесенное мною от этой встречи, было прямо противоположным впечатлению, полученному от беседы со Столыпиным. К этому времени в Государственной Думе уже определилось ярко революционное настроение, и я стал определенным сторонником уничтожения этой революционной говорильни. Именно в этом духе я и строил свой доклад о деятельности революционных партий. Но уже очень скоро я почувствовал, что мой рассказ мало интересует Горемыкина. Он прервал меня ласковыми словами:

— Ну, ну, полковник, не надо так горячиться. Вы слишком молоды и потому принимаете все всерьез. Поживете с мое, будете спокойнее. Все устроится. Надо предоставить события естественному ходу вещей.

Когда я в ответ указал ему, что Дума уже сейчас оказывает вредное влияние, а устраиваемые в ней демонстрации, когда министров встречают и провожают словами „палач!", дискредитируют власть в глазах населения, Горемыкин тем же тоном ответил мне:

— Ну, если министров так оскорбляют, то им не нужно и ходить в Думу. Пусть они там варятся в собственном соку. Таким путем Дума сама себя дискредитирует в населении.

В этом отношении Горемыкин целиком находился под влиянием Рачковского, который именно так расценивал обстановку и очень сблизился в это время с Горемыкиным. По-видимому, они были и раньше знакомы, а теперь они проводили вместе почти целые дни. Я как-то спросил Рачковского, о чем он постоянно беседует с Горемыкиным. Он ответил неопределенно: так, о житейском... Немедленно по вступлении в должность председателя Совета министров Горемыкин переехал в казенную квартиру, на Фонтанку, 16. Там же поселился и Рачковский. Дела Департамента Полиции он совсем забросил и стал политическим советником при Горемыкине, получив от него особое поручение организовать правые партии и наблюдать за ходом общественного движения в стране, в особенности за деятельностью Государственной Думы. Вся деятельность Союза русского народа и других монархических групп, созданных в это время, протекала под непосредственным влиянием и руководством Рачковского. Об этих партиях и группах мне еще придется говорить дальше. Что касается наблюдения за Государственной Думой, то для этой цели был создан особый орган надзора. Один из моих жандармских офицеров Бергольд получил специальное поручение и был назначен начальником думской охраны. Он находился в непосредственном ведении Департамента Полиции. Для организации надзора за депутатами ему были отпущены средства на обзаведение секретными агентами. Но особого труда тут не понадобилось, ибо никто из депутатов и не скрывал своей деятельности.

Задача Рачковского не ограничивалась этим наблюдением. Он стремился создать внутри самой Государственной Думы сильную партию. Вначале казалось, что некоторые возможности для этого, действительно, имеются. Многие депутаты-крестьяне были недовольны вызывающими революционными речами и нападками на министров. Поэтому предложенный Рачковским план создания отдельного общежития для монархически настроенных депутатов крестьян вначале имел известный успех. Целый ряд депутатов поселился в этом общежитии. Но это продолжалось очень недолго. Всем крестьянам, как бы правы они не были, было присуще стремление получить землю. А потому, как только выяснилось, что левые партии за

отчуждения, то из общежития (которое в левой прессе получило кличку „ерогинская живопырня") один за другим все депутаты разбежались. „Большой" план Рачковского – привлечение на сторону правительства правых крестьян, потерпел полное крушение. Это были похороны надежд, о которых вначале мечтал и Горемыкин, – на возможность создать в Думе послушное большинство.

Крах этих надежд ребром поставил вопрос: как быть дальше? Если невозможно создать в Государственной Думе послушное правительству большинство, то оставалось два пути: или разогнать Думу, или уступить ей и создать новое правительство, которое опиралось бы на поддержку этой существующей Думы. Горячим сторонником последнего плана, то есть политики уступок, стал Трепов. После того как выяснилось, что в Государственной Думе господствуют левые настроения, Трепов снова полевел. Самая мысль о роспуске Государственной Думы привела его в ужас. Ему казалось, что тогда начнется всеобщее восстание. Вся Россия запылает в огне подпаливаемых барских усадеб. Было известно, что Трепов вступил в личные сношения с лидерами конституционно-демократической партии и обсуждал с ними вопрос о том, какой состав правительства их удовлетворяет. Начались его секретные доклады Государю в том смысле, что для блага России и сохранения династии необходимо пойти на уступки и создать думское министерство. Соответствующий список такого министерства был передан Треповым Государю.

Позиция Горемыкина, с которым мне приходилось несколько раз беседовать, вначале была совсем безразличная. Казалось, ему совершенно все равно: будет думское министерство или не будет. Только роспуска Думы и он, и Рачковский определенно боялись. Страх перед восстанием владел ими.

Именно в этот момент впервые большую роль начал играть Столыпин. Я с ним тогда еще не был так близок, как позднее, поэтому я знал о его планах и действиях только отрывочно. В разговорах со мною он неоднократно высказывался в том смысле, что дальнейшее сохранение существующего положения совершенно невозможно и что наиболее правильным был бы немедленный роспуск Думы. Но поскольку на это не согласен ни Государь, ни Горемыкин, постольку необходимо вести переговоры с представителями думского большинства.

– Во всяком случае, – говорил Столыпин, – это выяснит положение. Или мы, действительно, на чем-нибудь сговоримся, или для всех станет ясно, что сговориться невозможно.

Это настроение, а также советы Трепова и прямые указания Государя заставили Столыпина пойти на переговоры с представителями кадетской партии. Он имел с ними ряд свиданий, в том числе с профессором Павлом Николаевичем Милюковым. В моей памяти сохранился рассказ Столыпина об одном его объяснении с Милюковым.

Столыпин говорил, что готов был поддержать план создания думского министерства, но с большими оговорками, — а именно, что назначение министров Двора, военного, морского, иностранных и внутренних дел должно остаться прерогативой царя. Милюков соглашался на это в отношении первых четырех указанных министров, но категорически настаивал на назначении Думой министра внутренних дел. Столыпин долго доказывал Милюкову, что должность министра внутренних дел не может перейти в руки общественных представителей, потому что они, будучи неподготовлены к административной деятельности, не справятся с революционным движением и разложат аппарат власти. Милюков в ответ на эти соображения, по рассказу Столыпина, ответил следующими словами:

— Этого мы не боимся. Правительство определенно заявит революционным партиям, что они имеют такие-то и такие-то свободы, перейти границы которых правительство им не позволит. До сюда — и ни шагу дальше! А если бы революционное движение разрослось, то думское правительство не остановится перед принятием самых серьезных и решительных мер. Если надо будет, мы поставим гильотины на площадях и будем беспощадно расправляться со всеми, кто ведет борьбу против опирающегося на народное доверие правительства.

Помню, резюмируя итог этой беседы, Столыпин сказал:

— Толку из всех этих переговоров не выйдет. Однако в последних словах Милюкова имеется мысль. Гильотины не гильотины, а о чрезвычайных мерах подумать можно.

Я с самого начала относился очень скептически к переговорам. Не скажу, чтобы я не видел необходимости больших реформ и не считал полезным привлечение в правительство известных групп общественных деятелей. Но в той обстановке, которая существовала летом 1906 года, для меня была ясна невозможность достичь соглашения на сколько-нибудь приемлемых основаниях. Именно в этом духе я все время делал доклады Столыпину и не скрою, что был очень рад, когда Столыпин, наконец, определенно стал на ту же точку зрения. К концу июня все правительство стояло на позиции невозможности соглашения и необходимости роспуска Думы. Только Трепов держался иной точки зрения и усиленно давил в этом направлении на Государя. Это вывело из себя даже Горемыкина, который как-то с несвойственной ему резкостью однажды заявил Трепову:

— Вы, молодой человек, ничего не понимаете в политике. Лучше не вмешивайтесь в нее. Не морочьте голову нашему Государю.

Весьма возможно, что в этой борьбе Трепов и одержал бы победу, если бы не одно счастливое обстоятельство. Министром Двора к тому времени был барон Фредерикс, к которому Государь относился очень хорошо и с большим доверием. Своих взглядов барон Фредерикс не имел и вначале даже помогал Трепову. Столыпин был

хорошо знаком с Фредериксом. Последний командовал эскадроном в том гвардейском кавалерийском полку (кажется в конно-гвардейском), командиром которого был когда-то отец Столыпина. Фредерикс тогда часто бывал в доме у Столыпиных, хорошо знал всю семью и чуть ли не нянчил на руках Петра Аркадьевича. Теплые чувства у него к Столыпину сохранились, и он был рад возможности возобновить давнишние, дружественные отношения с ним. Петр Аркадьевич воспользовался этим благоприятным обстоятельством для того, чтобы привлечь Фредерикса на свою сторону. После того как земельный вопрос встал в Государственной Думе очень остро, это удалось в полной мере, и Фредерикс поддержал Столыпина перед Государем.

Обстановка тем временем становилась все более и более непереносимой. Не довольствуясь речами в самой Думе, депутаты превратились в своего рода разъездных революционных агитаторов, к тому же оплачиваемых из государственной казны. Особенные усилия они направили на армию. Для революционизирования армии издавались специальные газеты, легальные и нелегальные, печатались сотни тысяч прокламаций. Солдат всячески заманивали на революционные митинги. Специально созданные солдатские организации готовили восстания. То там, то здесь дело доходило до прямых беспорядков в армии. Даже первый батальон Преображенского полка, наиболее близкий к царю, оказал неповиновение начальству. Это был тот самый батальон, в котором революционная пропаганда была обнаружена еще в октябрьские дни 1905 года. Секретная агентура принесла сведения о подготовляемых военных восстаниях в Кронштадте, Свеаборге и других городах. Противники роспуска Думы на основании этих сведений приходили к заключению, что в ответ на роспуск в стране вспыхнут восстания. Я, наоборот, считал, что восстания могут быть и будут только в том случае, если Дума будет развивать невозбранно революционную деятельность. В этом смысле я и докладывал Столыпину, все настойчивее и настойчивее подчеркивая, что так дальше продолжаться не может, что если мы будем пассивно относиться, то в один прекрасный день мы, сами того не заметив, войдем в революцию. Столыпин в это время полностью соглашался со мною и говорил, что передаст мои доклады и выводы на заседание Совета министров. Наконец, за два дня до роспуска Государственной Думы Столыпин во время моего обычного ночного визита сообщил мне, что только что закончилось заседание Совета министров, на котором принято официальное решение обратиться к Царю с просьбой распустить Государственную Думу. Так как Горемыкин не чувствовал себя достаточно сильным для проведения нужных мер, то одновременно Совет министров постановил также подать в отставку. Роспуск обеспечен. Согласие Царя уже имеется. Завтра с утра Горемыкин едет к Царю с докладом и повезет готовый указ о роспуске на подпись. Столыпин был очень

доволен, но его беспокоило, как отзовется на это событие Россия, особенно Петербург.

— Теперь ваше дело! Вы обещали, что восстаний не будет. Примите все меры к тому, чтобы это обещание оправдалось.

Я успокоил его. Я и на самом деле считал, что никакого восстания не будет. Революционные партии много говорили о восстании, но ничего конкретного у них подготовлено не было. Роспуска Думы они в этот момент совсем не ждали. Во всяком случае, я обещал все нужные предупредительные меры принять. Столыпин просил меня на следующий день в 10 часов вечера придти на квартиру Горемыкина и сделать ему и Горемыкину доклад. Само собой разумеется, весь следующий день ушел на принятие необходимых мер. Так сказать стратегическая диспозиция была намечена и раньше. Нужно было только отдать распоряжения, какие именнно войсковые части должны занять определенные участки, кто и когда разведет мосты и т.д.

Только к 10 часам я был у Горемыкина. Меня ждали и провели в служебный кабинет. Это была большая комната с окном на Фонтанку в первом этаже министерского дома. Горемыкин сидел в своем обычном покойном кресле за письменным столом. Столыпин больше расхаживал из угла в угол. Были еще один или два министра; не помню уже их имен. Помню только, что Рачковского не было. Это был первый раз, когда я видел Горемыкина без Рачковского. Это означало конец карьеры последнего. Мне сообщили, что Государь очень милостиво принял Горемыкина, дал свое согласие на представленный доклад, но текста указа о роспуске Думы со своей подписью не передал Горемыкину, а оставил его у себя, обещав прислать ночью. Но право принять все надлежащие меры он дал, и эти меры уже были приняты. Здание Таврического дворца уже занято войсковыми частями. Газетам дано знать, что Дума распущена.

Мне предложили доложить о том, что сделал я. Так шло время. Подходило уже к 12-ти, а из Петергофа никаких известий не было. Столыпин нервничал. Беспокойство передавалось даже Горемыкину. Около полуночи Горемыкин решился позвонить Трепову. С квартиры последнего ответили, что он — у царя. Телефон перевели в канцелярию царя. Позвали Трепова. Горемыкин попросил его сообщить, подписан ли указ. Сухо, с явным неудовольствием в голосе, Трепов ответил:

— Относительно указа мне ничего неизвестно.

Этот ответ только усилил тревогу. Горемыкин говорил:

— Не может быть, чтобы Государь изменил свое решение. Он мне совершенно твердо и определенно обещал и дал полномочие предпринять все нужные шаги.

Но это не успокаивало. Попросили секретаря позвонить в походную канцелярию царя и узнать, не выехал ли фельдъегерь (если

бы указ был подписан, то он должен быть выслан специальным нарочным, фельдъегерем). Из походной канцелярии ответили, что фельдъегерь не выезжал. Тревога усилилась. Горемыкин уже поднял вопрос о том, как быть, как отменить принятые меры. Увести военный караул из Таврического дворца было еще можно, хотя это, конечно, стало бы известно и поставило бы правительство в очень неприятное положение. Но как убедить газеты не печатать официального сообщения о роспуске Государственной Думы? Сидели как на похоронах. Наконец, уже на рассвете вошел дежурный секретарь и радостно сообщил: – Прибыл только что фельдъегерь, – и передал Горемыкину пакет. Иван Логгинович торопливо вскрыл его, развернул бумагу и радостно заявил:

– Слава Богу, подписаны.

Все облегченно вздохнули. Это были указы о роспуске Думы и о назначении Столыпина. Горемыкин передал последний указ Петру Аркадьевичу со словами:

– Поздравляю! Теперь ваше дело.

Столыпин поблагодарил. Еще несколько минут посидели, поговорили, в совсем иных уже тонах, и разъехались домой.

Это была одна из самых трагикомических ночей, какие я переживал в своей жизни.

Я поехал на службу принимать очередные доклады. Как я и ожидал, никаких восстаний не произошло, и в Петербурге все прошло спокойно. Депутаты поехали в Выборг и подписали там известное воззвание: не платить податей, не давать новобранцев правительству. Столыпин смеялся:

– Детская игра!

Очень понравилась ему шутка, ходившая по городу, что депутаты поехали в Выборг крендели печь.

Дня через два Столыпин поехал к царю представляться как председатель Совета министров. Я поехал с ним для охраны. Пока он был у царя, я зашел к Трепову. Прежде он ко мне относился очень хорошо, теперь был больше чем раздражен против меня.

– Посмотрим, – сказал он резким тоном, – как вы с вашим Столыпиным справитесь, когда вся Россия загорится из-за вашей опрометчивости.

Я не такой человек, чтобы молча спускать. В словах Трепова было явное желание оскорбить меня. Я отвечал ему в том же тоне. Мы расстались холодно. Это была моя последняя встреча с ним.

На обратном пути Столыпин был оживлен и весел. Было ясно, что царь принял его очень ласково, но подробностей мне тогда Столыпин не рассказал.

Несколько позже вспыхнули восстания в Кронштадте, Свеаборге, Ревеле. Но серьезного значения они не имели. Аппарат власти функционировал точно, и сомнения в том, что восстания будут раздавлены, ни на один момент не было.

К этим дням относятся переговоры Столыпина с представителями умеренных общественных кругов – А.И. Гучковым, Д.Н.Шиповым и другими. Столыпину очень хотелось получить их в состав министерства. Он не раз высказывался в этом духе. Но эта попытка не удалась.

Зато с Треповым было покончено. Его влияние сразу резко упало. Столыпин с самого начала добился крупного нововведения. Раньше все резолюции царя на докладах министров контрассигновывались Треповым, что придавало Трепову большое политическое значение. Столыпин добился того, что право контрассигнации царских резолюций стало принадлежать министрам. Вначале он хотел, чтобы это право принадлежало только председателю Совета министров, но это не прошло. Впоследствии Столыпин мне говорил, что он сам отказался от этой своей первоначальной мысли, так как в случае ее осуществления были бы обижены все остальные министры, лишавшиеся таким образом очень важного права. Вскоре затем был нанесен Трепову новый удар. Царь уехал в шхеры на свою обычную летнюю прогулку и, вопреки всем традициям, не взял с собой дворцового коменданта. Для всех, кто понимал отношения при Дворе, было ясно, что это означает прямую немилость. Так ее воспринял и Трепов. Но отставки не последовало. Вскоре Трепов заболел и умер от разрыва сердца.

Переговоры о новом коменданте барон Фредерикс по поручению царя вел со Столыпиным. Было решено, что в качестве нового коменданта возьмут человека, который не может претендовать на политическую роль. Таким кандидатом был выдвинут генерал Дедюлин, бывший петербургский градоначальник. Столыпин знал его и считал человеком, чуждым политики и неспособным вести дворцовые интриги. Фредерикс согласился, и после смерти Трепова Дедюлин был назначен на этот пост. Он далеко не оправдал тех надежд, которые возлагал на него Столыпин. Использовать свою близость к царю в политических целях пытался и он.

Глава 12

НОВЫЕ ВСПЫШКИ ТЕРРОРА

Выше я рассказал о Государственной Думе, о планах правительства по отношению к ней и о царивших в ней политических настроениях. Но у меня в качестве руководителя Охранного отделения естественно была и специальная забота: борьба с террористами, расстройство их планов, предупреждение покушений. Как известно, партия социалистов-революционеров постановила прекратить террор на время Государственной Думы. Но я не мог быть спокойным и не мог доверять этому постановлению, так как знал, что в один прекрасный день оно может быть партией отменено, что – самое существенное – об этой отмене не будет объявлено, и мы будем застигнуты врасплох. Кроме того, имело значение и то обстоятельство, что центральный террор не являлся монополией партии социалистов-революционеров. Как раз незадолго до того выделилась из рядов социалистов-революционеров группа оппозиционеров, получившая известность под именем максималистов. Дабы не случилось каких-нибудь неожиданных и весьма неприятных сюрпризов, нам надо было заблаговременно концентрировать все свое внимание и организовать тщательное наблюдение за деятельностью обоих этих центров.

Относительно террористической работы партии социалистов-революционеров я мог быть более или менее спокоен. Сотрудничество Азефа было тут серьезным обеспечением от каких-либо неожиданностей. Правда, я должен признаться, что первые мои встречи с Азефом не располагали к особенному доверию. В то время, когда Азеф находился не в моем ведении, а в ведении Рачковского, а я только время от времени присутствовал на их свиданиях, в Москве произошло покушение на Дубасова. Как раз в эти дни Азеф был в Москве по своим личным делам (как он говорил Рачковскому). Но совпавшее с пребыванием Азефа в Москве покушение было устроено центральной боевой организацией, – о чем Азеф, следовательно, должен был быть осведомлен. Между тем он не предупредил об этом покушении. И Рачковский, по получении первых известий из Москвы о покушении, тут же сказал мне о своих подо-

зрениях: не подготавливал ли его агент Азеф это покушение на Дубасова. Эта догадка нашла свое подтверждение и в Московском Охранном отделении, в докладе которого в Департамент Полиции прямо и было указано, что покушение организовано Азефом. Естественно поэтому, что мы – и Рачковский, и я – встретили Азефа по возвращении из Москвы с большим недоверием. Но Азеф категорически отрицал какую бы то ни было свою причастность к этому делу и сообщил нам, что, по его сведеньям, покушение на Дубасова было организовано Жученко. Следует заметить, что Азеф и Жученко были друг с другом знакомы по партийной работе, но в то время, как Жученко (работавшая в Московском Охранном отделении) знала о том, что Азеф является агентом Департамента Полиции, Азеф не был осведомлен о подлинной роли Жученко.

Разобраться в том, кто прав из этих двух осведомителей, было трудно. Положение складывалось чрезвычайно запутанное и неясное. Существовала возможность, что Жученко принимала участие в организации покушения на Дубасова, но этим не исключалось и предположение, что Азеф, будучи в те немногие месяцы свободен от своей службы в Департаменте Полиции, мог по поручению партии принять на себя организацию покушения, а сорганизовав, он расстроить его не сумел. Кажется, только одно не подлежит сомнению: как Азеф, так и Жученко знали о готовящемся покушении, но по соображениям шкурного характера они не доносили о нем, так как оба были на подозрении в партии.

Мы не нашли никакого нормального выхода из создавшегося запутанного положения и предоставили дело его собственной судьбе. Но, разумеется, Азеф после этой истории был взят под очень строгий контроль, что он и сам заметил. Но затем все сведения, поступавшие от Азефа, стали абсолютно достоверными, точными и интересными. Его сообщения были для нас исключительно ценны, а произведенные им выдачи, – в частности, выдача Савинкова, – окончательно разбили возникшую между нами стену недоверия. Вскоре Рачковский отошел от дела политического розыска, передав Азефа целиком мне. Я проверял все сообщения Азефа при помощи других источников, и они постоянно подтверждались. Прошло не более двух месяцев, и мое доверие было постепенно полностью завоевано Азефом. Поэтому я мог всецело положиться на него в таком большом деле, которое мне пришлось вскорости проводить. И я не ошибся в нем.

Сущность этого большого дела заключалась в следующем. Уже в июне месяце 1906 года Центральный Комитет партии социалистов-революционеров, убедившись в том, что правительство не идет на уступки Государственной Думе, принял секретное решение о возобновлении террора и сразу поставил на очередь организацию убийства П.А.Столыпина. Азеф держал меня в курсе всех разговоров, происходивших по этому вопросу в Центральном Комитете. Между

прочим, он справлялся о моем мнении, – как должен он, Азеф, поступить, в случае, если ему предложат взять на себя руководство подготовкой этого покушения. Мои указания сводились к тому, что он должен всячески возражать против возобновления террора, но если его старания в этом отношении не увенчаются успехом, – он не должен отказываться от сделанного ему предложения, – конечно, для того, чтобы расстроить это покушение. Так все и произошло. Когда решение о возобновлении террора было принято, руководителем Боевой Организации был назначен именно Азеф. Помню, мы много говорили с ним на тему о том, что теперь делать. Положение представлялось весьма сложным. Азеф много рассказывал мне о том, как руководители политической полиции ставили его в опасное положение, произведя на основании полученных от него сведений такие аресты, которые выдавали его с головой революционерам. Он заявил, что готов сделать все для того, чтобы расстроить замыслы террористов, но рисковать собой он не хочет и не может. Поэтому, если Боевую Организацию, руководимую им, будут арестовывать, – то он лучше просто уйдет. Но и в мои планы не входил арест Боевой Организации. Я сознавал, что после ареста существующего состава Боевой Организации при создавшихся политических настроениях нашлись бы в революционных кругах в десять раз больше кандидатов на место арестованных. Такой шаг был бы ошибкой, так как в результате ареста боевиков я проиграл бы, потеряв своего агента, до того находившегося в исключительно выгодном положении. Мы в конце концов сошлись на плане, по которому арестов производиться не должно, но в то же время совместными действиями моими и Азефа все попытки революционеров должны неизбежно заканчиваться неудачей.

Основная идея нашего плана заключалась в том, чтобы целым рядом систематически проводимых мероприятий фактически парализовать работу Боевой Организации и побудить ее и партию прийти к выводу о полной невозможности центрального террора. Для этого наблюдение было так организовано, чтобы боевики, не выходя из поля зрения Охранного отделения, все время наводились на ложный след, направлялись на ложные пути и, наконец, изнуренные безрезультатностью своей напряженной и опасной работы, впадали в отчаяние и теряли веру в реальный смысл своей деятельности, в целесообразность привычных методов и средств. Благодаря такой системе, ни один шаг боевиков не мог ускользнуть от нашего внимания. Гарантия этому – что никто из боевиков не решился бы проявить свою собственную инициативу без ведома руководителя Боевой Организации. В последней царила строжайшая дисциплина, введенная Азефом, – таким образом, мы имели максимальную уверенность, что нам удастся расстроить все планы боевиков, без того, чтобы они могли причинить какую-нибудь реальную опасность П.А.Столыпину, против которого удар направлялся. Столыпин после моего

доклада, несколько поколебавшись, ибо он естественно опасался каких-нибудь промахов со стороны наблюдения, – все же одобрил весь этот план: не подвергая арестам революционеров, держать их под постоянным контролем и систематически расстраивать все их начинания.

Не последнее место в нашей работе занимала и ставка на истощение сил и нервов революционеров, и при этом я не могу не вспомнить применявшийся Охранным отделением такой метод наблюдения, который не мог бы не заметить наблюдаемый нашим филером революционер. Для этой цели у нас имелись особые специалисты, настоящие михрютки: ходит за кем-нибудь, – прямо, можно сказать, носом в зад ему упирается. Разве только совсем слепой не заметит. Уважающий себя филер на такую работу никогда не пойдет, – да и нельзя его послать: и испортит, и себя кому не надо покажет. Но на боевиков такая откровенная слежка не могла не производить большого впечатления: она означала, что полиция следует по пятам, и „спугнутые" люди бросались бежать, оставляя на произвол судьбы квартиры, лошадей, экипажи и пр. Правда, они склонны были считать такие факты случайностями, но когда эти случайности стали повторяться и происходили каждый раз, когда Боевой Организации удавалось как будто подходить ближе к цели, – тогда разложение все больше должно было охватывать революционеров, воочию видевших безрезультатность своих усилий.

Я рекомендовал для этой же цели Азефу вносить расстройство и в финансы Боевой Организации. В тот период кассы партии и специально Боевой Организации были полны: доходы исчислялись в сотнях тысяч рублей. Для того чтобы ослабить эти кассы и тем самым – силу террористов, я советовал Азефу по возможности чаще делать из них заимствования на свои личные нужды и увеличивать сбережения на черный день. Впрочем, я очень скоро убедился, что Азеф в этих советах не нуждался. Этим он занимался и до знакомства со мной.

Со слов Азефа я был осведомлен о тех настроениях, разочарованиях, которые под влиянием неудачи покушения, готовившегося Боевой Организацией против Столыпина, складывались в руководящих кругах партии социалистов-революционеров. Наиболее испытанные боевики, вроде Савинкова (недавно бежавшего из Севастополя из-под приговора к смертной казни и примкнувшего к боевому делу), стали склоняться к той мысли, которую всемерно в партийных кругах отстаивал Азеф, – что дело против Столыпина не удастся, что все попытки хотя бы приблизиться к министру обречены на неудачу, что, следовательно, нужно пересмотреть коренным образом методы и пути боевой работы и что – в результате – нужно признать необходимым приостановку центрального террора и роспуск Боевой Организации. После больших внутренних споров наш общий с Азефом план удалось осуществить. Хотя и не без боль-

шой борьбы, но Азеф провел в партии решение о роспуске Боевой Организации.

Значительно хуже обстояло дело тогда с другой террористической организацией — с максималистами.

Это была совсем молодая организация. Начало ей было положено в Москве, где возникла оппозиция против тактики Центрального Комитета партии эсеров. Особенное недовольство вызвало прекращение Центральным Комитетом в октябре 1905 года террористической борьбы. Оппозиционерам удалось привлечь к себе энергичные элементы молодежи, рабочих, отдельных интеллигентов. После первого съезда партии в начале 1906 года произошел формальный раскол. Первым ее шагом, заставившим заговорить о новой организации, было ограбление 7/20 марта 1906 года Московского Общества Взаимного Кредита, при котором были экспроприированы огромные суммы, свыше 800.000 рублей, давшие возможность развить в дальнейшем энергичную деятельность и поставить широко террористическую борьбу. Получив в свое распоряжение крупные средства, обзаведясь складами оружия и выпуская массу литературы, максималисты завели связи в целом ряде пунктов, — в Петербурге и в провинции. В своей среде они имели буйную молодежь, одушевленную революционными стремлениями и готовую пойти на смерть, — а во главе ее в качестве руководителей стояли талантливые организаторы, из которых наиболее известен был Медведь-Соколов, из крестьян Саратовской губернии, окончивший сельскохозяйственное училище, человек с большой инициативой, исключительной смелостью и серьезным влиянием в своей среде. Естественно, что среди террористических групп максималисты стали представлять собой одну из первых по серьезности и опасности.

Незадолго перед роспуском Государственной Думы они начали перекочевывать в Петербург, однако, в течение довольно долгого времени нам не удавалось попасть на их след. В кругах социалистов-революционеров ходили слухи, что появились максималисты и готовятся к выступлениям, но никаких конкретных данных о них у нас не было. Впервые взять их под наблюдение мне удалось в начале июля 1906 года. В это время начальник Московского Охранного отделения сообщил мне о выезде одного из видных максималистов в Петербург для того, чтобы я мог его принять и поставить под наблюдение. Нам удалось в течение 10 дней поставить это наблюдение и довольно широко выяснить связи этого приезжего из Москвы. Был установлен даже сам руководитель группы максималистов Медведь. Но, к сожалению, наше наблюдение было замечено, и Медведь вместе с его ближайшими друзьями поспешно скрылся из Петербурга, сбив с толку моих филеров. Опасаясь какого-нибудь неожиданного выступления, мы произвели частную ликвидацию тех, кто оставался в сфере нашего наблюдения. Нами взята была лаборатория на Мытнинской набережной, в которой находилось пять

разрывных снарядов и много принадлежностей для изготовления бомб. Один из арестованных максималистов по пути в тюрьму пытался бежать, но был окружен полицией и застрелился. Эта операция было произведена 19 июля/1 августа 1906 года и в известной степени внесла расстройство в деятельность максималистской группы. Но положение неожиданно обернулось в благоприятную для террористов сторону благодаря той роли, которую сыграл Соломон Рысс. На этой истории следует особо остановиться.

В один прекрасный день Директор Департамента Полиции М.И.Трусевич сообщил мне, что у него в Департаменте большое событие, а именно: один видный максималист, арестованный в провинции, согласился поступить на службу в политическую полицию. Подробностей я тогда не знал, и стали они мне известны несколько позднее. Этот максималист был Соломон Рысс. В июне 1906 года он был арестован в Киеве при попытке ограбления артельщика, и ему грозила смертная казнь. Тогда он по доброй воле вызвал начальника Киевского Охранного отделения полковника Еремина и заявил о своей готовности стать секретным агентом. Он рассказал ему очень подробно о составе максималистских групп, дал характеристику руководителей и т.д., но не дал ни одного адреса под тем предлогом, что их не знает, и что для их установления ему необходимо очутиться на воле. Полковник Еремин снесся с Департаментом Полиции, настаивая на том, чтобы Рыссу был разрешен „побег" из заключения. Трусевич дал свое согласие, и „побег" вскоре был организован. Рысс бежал из участка в такой обстановке, при которой охранявшие его и ответственные за него жандарм и полицейский были преданы суду и приговорены к каторге, – хотя, конечно, были абсолютно неповинны и ничего об этом деле не знали. Рысс при поступлении в агенты поставил условием, что не будет иметь сношений ни с кем, кроме полковника Еремина и директора Департамента Полиции Трусевича. В этих целях Еремин получил повышение по службе и был переведен в Петербург помощником начальника секретного отдела Департамента Полиции, заведовавшего всей секретной агентурой. Вскоре после этого „побега" поделился со мной Трусевич радостным известием, что теперь максималисты у него „в кармане". Мы имеем такого замечательного агента, – говорил он, – который будет нас предупреждать о каждом шаге максималистов, расстраивать их планы и пр. Тут же Трусевич сообщил мне, что все это дело Департамент Полиции взял в свои руки, что никаких арестов среди максималистов производить не следует, – дабы не спугнуть их, – что в нужный момент все революционеры будут изъяты и пр.

Но как раз должно было случиться, что буквально через несколько дней после появления Рысса и после того, как мне с восторгом было поведано Трусевичем, что максималисты у него в кармане, – произошел страшный взрыв в загородной даче П.А.Столыпи-

на на Аптекарском острове. Произошло это событие 12/25 августа 1906 года. Три лица, двое переодетые в форму офицеров корпуса жандармов и одно в штатском, 12 августа в 4-м часу дня подъехали к даче П.А.Столыпина, имея каждый в руках по большому портфелю со вложенными в них бомбами. Один из них вызвал подозрение у охраны, которая пыталась вырвать у него портфель. Тогда все трое с революционными возгласами бросили с силой наземь свои портфели, и произошел страшный взрыв, от которого, наряду с другими, погибли сами максималисты. Мне тотчас дали знать об этом по телефону, и я помчался на место взрыва. Незабываемое ужасное зрелище развернулось перед моими глазами. Вся дача еще была окутана густыми клубами дыма. Весь передний фасад здания разрушен. Кругом лежат обломки балкона и крыши. Под обломками – разбитый экипаж и бьются раненые лошади. Вокруг несутся стоны. Повсюду клочья человеческого мяса и кровь. Всего пострадало от взрыва около 100 человек, из которых, по официальным данным, 27 убитых, – остальные ранены и большей частью тяжело. Офицеры и солдаты вытаскивают лошадей, людей. Трусевича я уже тут застал на месте. Вскоре появились чины прокурорского надзора. Мне бросилась в глаза фигура министра, Столыпина, бледного, с царапиной на лице, но старавшегося сохранять спокойствие. У него тяжело ранена дочь. Но он передал ее на попечение другим и сам руководил спасением пострадавших от взрыва.

Я вспоминаю первый разговор о виновниках этого покушения, который произошел у нас тут же в саду. Я был совершенно спокоен за свою осведомленность о партии социалистов-революционеров и заверил, что Боевая Организация партии никакого отношения к этому террористическому акту не имеет. Трусевич в свою очередь уверял, что максималисты не причастны к этому делу, считая, что покушение совершено польскими социалистами (П.П.С.). Я высказал свои сомнения. По моим данным, никаких групп польской социалистической партии в Петербурге не было, и я выразил предположение, что это дело рук максималистов, вожди которых от нас ускользнули при последних арестах.

Едва ли не в тот же день мои предположения полностью подтвердились сведениями агентуры. Да и максималисты не скрывали, выпустив немедленно листовку – официальное извещение о том, что покушение устроено ими. По этому поводу состоялось у меня с Трусевичем объяснение, при котором я высказал ему ряд сомнений, накопившихся у меня относительно надежности его секретного агента. Трусевич успокаивал меня. Отсутствие предупреждения об акте со стороны агента он объяснял тем, что агент его лишь недавно прибыл в Петербург, не успел завязать надлежащих связей и не был осведомлен о готовящемся акте. Абсолютно отрицать такую возможность я не мог, но у меня вообще было недоверие к постановке Трусевичем работы секретных сотрудников. Бывший това-

рищ прокурора по политическим делам, Трусевич считал себя знатоком розыскного дела. В высшей степени самонадеянный, самолюбивый человек, он не допускал чьего-либо вмешательства в свои дела, но, на мой взгляд, Трусевич никак не принадлежал к числу полицейских деятелей, умеющих разбираться в людях и влиять на них. Позднее в нем обнаружилась и еще одна черта, чрезвычайно отрицательного свойства. Он был страшно болтлив и любил за карточным столом или в дамском обществе щегольнуть осведомленностью Департамента Полиции относительно революционных секретов. Мне часто становилось известно о таких его рассказах, которые, в случае если бы о них узнали революционеры, нанесли бы серьезный ущерб делу розыска. Скоро я вообще перестал что-нибудь сообщать Трусевичу о секретных делах Петербургского Охранного отделения, – о чем я прямо заявил Столыпину...

В тот период, о котором сейчас идет речь, я еще не был так хорошо осведомлен о Трусевиче и поэтому должен был быть более или менее сдержан в своих оценках его мнений и действий. Тем не менее в докладах Столыпину я не скрыл своих сомнений относительно надежности агента Трусевича по максималистам. Столыпин имел объяснение с Трусевичем, во время которого Трусевич назвал ему фамилию Рысса. От Столыпина эта фамилия стала известна и мне. Столыпин спросил меня: как вы считаете, может этот агент Рысс быть осведомленным о делах максималистского центра? Я к этому времени имел уже некоторую информацию о внутренних делах максималистов и ответил, что Рысс может осветить их организацию. Но, – прибавил я, – я не уверен, что он захочет это сделать... Лично его я не знаю и никаких непосредственных впечатлений у меня нет. Но суждению Максимилиана Ивановича я не особенно доверяю. В отличие от социалистов-революционеров максималисты быстры, подвижны, действуют короткими ударами без длительной подготовки. Поэтому чрезвычайно важно их арестовывать, как только мы нападем на их след. Мнение Трусевича однако иное, и он воздерживается от арестов – что может возыметь роковое значение.

Столыпин хотел, чтобя я встретился с Рыссом. Но Трусевич категорически отклонил это предложение, заявив, что Рысс поставил условием своей работы ни с кем кроме него и Еремина не встречаться. Трусевич настаивал на безусловной надежности Рысса, говорил, что тот делал настоящие убедительные доказательства своей преданности и что в нем никаких сомнений быть не может. Что касается арестов, то они могут проводиться лишь с согласия Рысса. Столыпин присоединился к мнению Трусевича и подтвердил приказ о непроизводстве арестов максималистов. Я все же настоял на том, чтобы мне дали возможность знакомиться с докладами Рысса, и я начал их проверять. Они с самого начала поразили меня своим полным несоответствием действительности. Было совершенно ясно,

что человек ведет по ложному следу. Когда Рысс все же сообщает о каких-нибудь людях, действительно причастных к организации, то он это делает лишь для того, чтобы таким путем отвлечь внимание от людей, наиболее важных. При этих условиях я решил приложить усилия к тому, чтобы, независимо от Департамента Полиции, организовать самостоятельное освещение максималистов. В этом направлении мне удалось достичь довольно многого, хотя завести среди самих максималистов сколько-нибудь серьезного агента мне не удалось. Но случайно один мой агент, близко стоявший к Петербургскому комитету партии социалистов-революционеров, оказался большим личным другом руководителя максималистов Медведя, и с моего согласия он стал оказывать Медведю различные личные услуги, настолько существенные, что уже вскоре Медведь стал его считать почти вполне своим человеком. Мой агент регулярно держал меня в курсе своих встреч с Медведем, и благодаря этому нам удалось взять его под наблюдение и проследить многие из его связей. Специально просил я своего агента разузнать о Рыссе. Медведь рассказал ему всю историю Рысса, трактуя последнего как вполне своего, надежного человека, который вступил в сношение с политической полицией с его, Медведя, ведома и в интересах максималистской организации. По его характеристике выходило, что Рысс едва ли не самый ценный человек в организации, которого они рассчитывают использовать для какого-нибудь большого дела.

От этого же своего агента я узнал, что Медведь полон различных планов, что организация приобрела два мотора и двух породистых рысаков, которые должны были быть использованы для нападения на царский дворец и повторить покушение на Аптекарском острове, только в еще более крупном масштабе. (Одного из этих рысаков, имевшего свою „родословную" и приобретенного за 1700 руб., узнали, когда на нем прокатывались по Невскому.) Остановка была за деньгами. Организация жила так широко, и хищения денег со стороны отдельных примыкающих к ней элементов были настолько значительны, что даже московские 800.000 рублей уже приходили к концу. Поэтому по плану Медведя в первую очередь должна была быть произведена новая большая экспроприация. Мой агент сообщил мне время и место ее: это должно было быть нападение на артельщика, перевозившего крупную сумму из Таможни в Казначейство. День был намечен – 14 октября. Я тотчас же справился на Таможне, чтобы проверить, будут ли в этот день переправлять транспорт денег и пойдет ли он по такому маршруту. Действительно, все оказалось верно.

Собрав весь этот материал, я обратился к Трусевичу, рассказал ему все относительно Рысса и предупредил, что последний готовит на него покушение. Вначале Трусевич отказывался верить и заявил, что на днях он должен с Рыссом встретиться и тогда он представит мне доказательства ошибочности моих утверждений. Но в

конце концов убежденный моими доводами, он от свидания с Рыссом отказался. В результате я получил право на арест максималистов. Моим первым делом было отдать распоряжение об аресте Рысса на границе. Но арестовывать те квартиры, которые были установлены наблюдением в Петербурге, я не хотел, ибо никого из крупных руководителей организации мы не захватили бы, так как все они жили не в Петербурге, а в Финляндии. Можно было взять автомобили, лошадей, кучеров. Но этого, конечно, было недостаточно. Поэтому было решено взять максималистов в деле, во время экспроприации, когда все силы будут мобилизованы и в сборе.

Итак, 14 октября с Петербургской портовой таможни повезли транспорт, окруженный конвоем конных жандармов. Весь наличный состав филеров был нами мобилизован и выведен под командой моего помощника полковника Кулакова, которому я дал указание арестовывать всех подозрительных, кто только попадется на пути. То, что случилось дальше, является лучшим доказательством, насколько не достаточно одно внешнее наблюдение. В толпе, в разгар уличного движения, революционеров узнать нельзя, – они мундира не носят. Необходимо знать конкретных, определенных людей, – а их знать может только секретный агент, работающий внутри организации, знающий всех в лицо. Так и случилось в это дождливое утро в 12-м часу дня в районе Фонарного переулка и Екатерининского канала, где, как мы знали, должно было произойти нападение на помощника казначея Таможни, перевозившего в Казначейство и в Государственный банк 600 с лишним тысяч рублей. Кругом было много филеров. Но было большое движение, и в толпе были, конечно, налетчики. Но кого нужно брать, кого арестовывать? Неизвестно. Филеры были растеряны. Потом один из них докладывал мне про одного революционера: „Стоял я с ним под воротами, спрятавшись от дождя, и вел разговор. А он был из первых, кто бросил бомбу". То же самое было в ресторане. Сам полковник Кулаков сидел рядом с лицом, которое, – оказалось потом, – командовало отрядом. Нападение было так стремительно. Бросили бомбы, стреляли из браунингов, убили лошадей, перебили повозку, перебросили мешок с деньгами на рысака, в котором сидела прекрасно одетая дама – „дама под вуалью", – и умчались. Несколько человек осталось убитыми на месте. Несколько человек мы арестовали. Но в общем надо признать, что экспроприация удалась максималистам. Тотчас же были налажены обыски по всем известным адресам. Были обнаружены конспиративные квартиры, лаборатории, конюшни с двумя выездами, были захвачены два автомобиля, оба рысака, кучера и шоферы. Автомобили и рысаки поступили в распоряжение Охранного отделения. Ряд людей нам удалось взять на границе. Часть денег также удалось найти, правда, незначительную. Из экспроприированных 600 с лишним тысяч крупная сумма осталась у экспроприаторов. По делу о Фонарном переулке 7 человек были

приговорены военно-полевым судом к смертной казни. Мы проследили также Медведя-Соколова и арестовали его. К концу 1906 года, несмотря на обилие денег, террористическая группа перестала быть сколько-нибудь значительным противником.

Что касается Соломона Рысса – после того как Трусевич не вызвал его на свидание, он скрылся. Так как действительная его роль была известна далеко не всем, то циркулировали слухи о его службе в полиции. Некоторые в революционной среде говорили о нем очень плохо. Я через моих агентов эти слухи усиливал. Это сделало Рыссу невозможной работу в столице, и он уехал в провинцию, где вскоре в Донецком бассейне был арестован во время подготовки к экспроприации, был раскрыт, привезен в Киев и предан военно-полевому суду. На военном суде он держал себя вызывающе, заявляя, что не хочет ни пощады, ни жизни, – вашей жизни я не щадил и себе пощады не хочу, – и был повешен... Разумеется, после этого своего опыта с максималистами Трусевич больше секретной агентурой не занимался.

Глава 13

УБИЙСТВО ФОН-ДЕР-ЛАУНИЦА

План, выработанный мною совместно с Азефом, который сводился к тому, чтобы систематически расстраивать все намеченные террористами акты и таким образом парализовать их деятельность, удался не в полной мере. Центральная Боевая Организация партии социалистов-революционеров усилиями Азефа была фактически выведена из строя, — но террористическая деятельность, приняв менее организованный характер, отдельными вспышками продолжала проявляться. Азеф был очень раздражен создавшимся положением, опасался за себя, и, наконец, уехал на время за границу, отдохнуть и привести в порядок свои семейные дела. Незадолго до отъезда он сообщил мне некоторые адреса, благодаря которым часть террористической группы, следившей за Столыпиным и готовившей на него покушение, была взята нами под наблюдение (Валентина Попова и др.). Однако, члены этой группы заметили за собой слежку и скрылись в Финляндии. К этому времени я получил сведения и о других возникших группах — в том числе о группе террористов при петербургском комитете партии социалистов-революционеров во главе с латышом Карлом Траубергом, совершившей еще в августе 1906 года одно выступление — убийство командира семеновского полка, генерала Мина, подавившего восстание в Москве. Следов этой группы нам не удалось нащупать, хотя сведения о ней имелись, — и состава ее мы не могли установить, так как осведомителя у нас там не было. Обе эти террористические группы в самом конце 1906 и в начале 1907 года, вырвавшись из-под наблюдения, стали короткими наездами из Финляндии в Петербург организовывать ряд покушений. Из них упомяну убийство начальника Дерябинской тюрьмы (17 января 1907 года), второе покушение на Дубасова, убийство главного военного прокурора Павлова и, самый тяжкий удар, нанесенный террористами, — убийство Петербургского градоначальника фон-дер-Лауница.

Террористическая группа, организованная Зильбербергом, скрывалась в Финляндии, где устроила свои конспиративные квартиры и динамитные лаборатории, и оттуда посылала своих людей

в столицу для подготовки покушений, среди которых на первом плане было покушение на Столыпина. Мне приходилось постоянно, чуть ли не ежедневно, входить в соприкосновение со Столыпиным по делам службы. Но неоднократно я бывал у него и на дому, среди членов его семьи. Насколько Столыпин был строг, суров, энергичен в государственной своей работе, целиком отданный владевшей им политической идее, настолько любезен и дружелюбен он был в личных отношениях. В кругу своей семьи он даже производил впечатление мягкого, податливого человека, и первую скрипку тут играла его жена. Ко мне они оба относились очень сердечно: он видел во мне преданного слугу государства, она же – надежную охрану своего мужа. В тяжелые времена мне приходилось бывать у Столыпина ежевечерне, докладывая ему о событиях в революционном лагере. По просьбе его жены, часто присутствовавшей при наших беседах, я должен был сопровождать его в поездках вне Петербурга, в Царское Село, и на обратном пути Столыпин мне о многом рассказывал, между прочим и о том, как Царь относится к сообщениям, почерпнутым из моих докладов.

На 3-е января 1907 года было назначено в Петербурге торжество освящения нового медицинского института, во главе которого стоял принц Петр Ольденбургский, член царствующего дома. На открытии должны были присутствовать Столыпин и фон-дер-Лауниц, которые обещали быть на нем. Накануне, 2-го января поздно вечером, ко мне явился один из моих секретных сотрудников и взволнованно сообщил, что подготовка группой Зильберберга террористического акта против Столыпина уже зашла весьма далеко. Агент мой не знал, когда и где произойдет это покушение, но он знал, что оно вот-вот должно произойти. Я немедленно отправился к Столыпину и рассказал ему об этом, советуя ему не покидать в течение нескольких дней Зимнего Дворца, где он, по приглашению Царя, проживал тогда со своей семьей. Столыпин решительно запротестовал, ссылаясь на свое твердое обещание принцу Ольденбургскому присутствовать на открытии. Но жена Петра Аркадьевича, естественно, стала на мою сторону и уговорила Столыпина не выезжать из дома. Фон-дер-Лауниц, к которому я тотчас же поехал, к сожалению, категорически отклонил мои предостережения и советы и отказался остаться дома. Между тем, было известно, что социалисты-революционеры давно наметили его в качестве жертвы – не только в качестве петербургского градоначальника, покушение на которых вообще являлось как бы данью революционной традиции, – но и в качестве бывшего Тамбовского губернатора, известного жестоким подавлением крестьянских восстаний в губернии.

Дело относится еще к ноябрю 1905 года. Владимир фон-дер-Лауниц, окончивший пажеский корпус, потомок старинного прибалтийского дворянского рода, назначенный Тамбовским губернатором, организовал карательную экспедицию с целью „образумить"

мятежные деревни. В ответ на жестокую расправу с крестьянами тамбовский комитет партии социалистов-революционеров вынес смертный приговор губернатору фон-дер-Лауницу и его двум ближайшим помощникам. Оба помощника были застрелены. Фон-дер-Лауница должен был убить террорист Кудрявцев, известный под кличкой „Адмирал", бывший семинарист. Он явился к Тамбовскому губернатору одетый сельским священником, с тем, чтобы выразить благодарность за подавление мятежа в его деревне. Ему была предоставлена аудиенция. Но принят он был не губернатором, а другим лицом: фон-дер-Лауниц при неосведомленности о том тамбовского населения, получил назначение Петербургским градоначальником и утром того же дня уехал в Петербург. Кудрявцев поехал следом за ним в Петербург и вступил там в Боевую Организацию партии социалистов-революционеров.

Фон-дер-Лауниц, не послушавшийся моих предупреждений, явился 3-го января на открытие института принца Ольденбургского. В капелле института, на третьем этаже, совершалось торжественное богослужение. Когда гости спускались по лестнице вниз, какой-то молодой человек во фраке ринулся к градоначальнику и выстрелил ему в затылок три раза из миниатюрного браунинга. Лауниц упал на ступени и через несколько минут был уже мертв. Звуки выстрелов из маленького револьвера были настолько слабы, что гости сначала не понимали, по какому случаю шум. Лишь вопль смертельно-раненого Лауница уяснил всем, что совершилось несчастье. Полицейский офицер из свиты градоначальника бросился с обнаженной шашкой на террориста. Но прежде, чем он успел размахнуться, раздался четвертый выстрел: террорист выстрелил себе в висок, и офицерская сабля попала в умирающего.

Тотчас же произведенное мною расследование установило, что в капелле находился еще один посторонний человек, удалившийся до покушения, но после краткого разговора с исполнителем акта. Он довольно медленно спустился по лестнице, принял от швейцара свое элегантное пальто, дал ему щедрый на-чай и уехал в экипаже. Он бесследно исчез. О личности самоубийцы мы не имели ни малейших сведений. По распоряжению судебных властей была отделена от тела голова, на которой рядом с револьверной раной на виске виднелся кровавый след от сабельного удара. Эта голова неизвестного была заспиртована в стеклянном сосуде и в течение долгих недель выставлена для публичного опознания. Но все усилия установить личность самоубийцы были безрезультатны. Только спустя несколько месяцев Азеф, вернувшись из заграничной поездки, сообщил мне, что это был Евгений Кудрявцев, по кличке „Адмирал", бывший член тамбовского комитета партии социалистов-революционеров, затем член террористической группы Зильберберга.

Второй террорист, который ушел из Института до покушения, был уполномочен группой Зильберберга убить Столыпина. Увидев,

что Столыпин не явился на торжество, он ушел и скрылся в одном из финских убежищ.

АУДИЕНЦИЯ У ГОСУДАРЯ

Убийство Петербургского градоначальника фон-дер-Лауница привело в чрезвычайное волнение официальные круги России, особенно людей, посвященных в то, что и Столыпин был на волоске от смерти. Столыпин должен был сделать исчерпывающий доклад царю о покушении и сопровождавших его обстоятельствах. При этом он рассказал царю вообще о моей борьбе с террористами. Уже ранее неоднократно заявлявший, что его весьма интересовало бы познакомиться со мной, сейчас, после доклада Столыпина о последнем террористическом акте, царь сказал ему: „Теперь я хочу поговорить с Герасимовым". И он поручил Столыпину передать мне, чтобы я явился к нему на аудиенцию через день. На обратном пути из Царского Села Столыпин сказал:

– Государь хочет с вами познакомиться. Послезавтра в 9 часов утра вы должны быть у него на аудиенции и доложить ему исчерпывающим образом о революционном движении. Государь чрезвычайно интересуется вашей деятельностью.

В то время, как я выражал по этому поводу свое радостное изумление, Столыпин добавил:

– Я и сам был поражен пожеланием Его Величества, и я счел нужным сообщить Государю, что Вы в интересах своей работы обычно носите штатское платье и, быть может, даже не имеете мундира. Но Государь полагает, что это неважно и что вы спокойно можете в штатском явиться к нему на аудиенцию.

В действительности, дело обстояло именно так, как изобразил его Столыпин в рассказе Государю. У меня имелся лишь один весьма поношенный офицерский мундир, в котором было абсолютно невозможно появиться к Государю. Но совершенно исключенным я считал для себя как офицера появиться перед царем в штатском платье. Я сказал Столыпину, что все будет в полном порядке. По приезде в Петербург я тотчас же заказал у портного офицерский мундир и наказал приготовить его к следующему дню. Я был согласен заплатить дорого за спешность.

По совету моего старого знакомого, дворцового коменданта генерала Дедюлина, я прибыл в Царское Село еще вечером, накануне аудиенции, переночевал там в одном из дворцов и на утро заявился в рабочий кабинет Государя. Я был тотчас же принят.

Государю Императору Николаю было тогда 36 лет. Его красивый облик, умные, доброжелательно глядящие глаза, спокойный и серьезный вид произвели на меня глубокое впечатление. На нем была офицерская форма стрелкового полка: малиновая куртка, опоясанная шелковым шнурком того же цвета, короткие темно-зеленые

шаровары и высокие сапоги. Я был тогда полковником и согласно дворцовому церемониалу не имел права сидеть в присутствии царя, даже в том случае, если бы сам царь пригласил меня сесть. Хотя Государь мне и не предлагал садиться, но в то же время не садился и сам. Так во все время нащей полуторачасовой беседы мы оба стояли у окна, выходившего в окутанный снегом царскосельский парк.

— Я давно уже хотел вас узнать, — сказал Государь после первых приветствий, и сразу перешел к сути дела. — Как оцениваете вы положение? Велика ли опасность?

Я доложил ему, с мельчайшими подробностями, о революционных организациях, об их боевых группах и о террористических покушениях последнего периода. Государь хорошо знал лично фон-дер-Лауница; трагическая судьба градоначальника его явно весьма волновала. Он хотел знать, почему нельзя было помешать осуществлению этого покушения и, вообще, какие существуют помехи на пути действенной борьбы с террором.

— Главным препятствием для такой борьбы, — заявил я, — является предоставленная Финляндии год тому назад свободная конституция. Благодаря ей, члены революционной организации могут скрываться в Финляндии и безопасно там передвигаться. Финская граница находится всего лишь на расстоянии двух часов езды от Петербурга, и революционерам весьма удобно приезжать из своих убежищ в Петербург и по окончании своих дел в столице вновь возвращаться в Финляндию. К тому же финская полиция по-прежнему враждебно относится к русской полиции и в большой мере настроена революционно. Неоднократно случалось, что приезжающий по официальному служебному делу в Финляндию русский полицейский чиновник арестовывался финскими полицейскими по указанию проживающих в Финляндии русских революционеров и высылался из пределов Финляндии...

С изумлением и со все возрастающим возмущением выслушал Государь мои сообщения. — Я готов, — сказал он, — все сделать для того, чтобы положить конец этому невыносимому положению. Я поговорю с Петром Аркадьевичем о необходимых мероприятиях.

Второй пункт, которым весьма интересовался царь, был вопрос о масонской ложе. Он слыхал, что существует тесная связь между революционерами и масонами, и он хотел услышать от меня подтверждение этому. Я возразил, что не знаю, каково положение за границей, но в России, мне кажется, масонской ложи нет, или масоны вообще не играют никакой роли. Моя информация, однако, явно не убедила Государя, ибо он дал мне поручение передать Столыпину о необходимости представить исчерпывающий доклад о русских и заграничных масонах. Не знаю, был ли такой доклад представлен Государю, но при Департаменте Полиции функционировала комиссия по масонам, которая своей деятельности так и не закончила к февральской революции 1917 года.

Первая аудиенция моя у Николая II была для меня исполнена чрезвычайного значения. Она укрепила меня в моих взглядах на то, как надо дальше действовать. На прощание Государь спросил меня: „Итак, что же вы думаете? Мы ли победим, или революция?"

Я заявил, что глубоко убежден в победе государства. Впоследствии я должен был часто задумываться над печальным вопросом царя и над своим ответом, к сожалению, опровергнутым всей дальнейшей историей.

Столыпин позднее рассказывал, что царь ему сказал обо мне: „Это настоящий человек на настоящем месте". Но в придворных кругах эта аудиенция у царя вызвала озлобление против меня. По традиции только особы высших четырех классов (по рангу) имели право личного доклада царю. Я же по чину полковника принадлежал лишь к пятому классу. Недружелюбное отношение придворных кругов мне приходилось и потом часто ощущать, но я равнодушно проходил мимо этого.

ОТЕЛЬ ДЛЯ ТУРИСТОВ В ЛЕСУ

Царь обещал мне во время аудиенции сделать все необходимое, чтобы лишить революционеров их убежища в Финляндии. Уже в течение ближайших дней я обсудил со Столыпиным соответствующие мероприятия. Прежде всего русская полиция должна была получить право производить обыски и аресты в пределах Финляндии. Столыпин довел до сведения Государя мои предложения и получил его согласие на осуществление. Но еще прежде чем решение по этому вопросу было принято, я предпринял попытку на собственный риск поймать засевших в Финляндии товарищей „Адмирала" – террориста Кудрявцева, того тамбовского революционера, который принимал активное участие в группе Зильберберга и покончил с собой после убийства фон-дер-Лауница.

Азеф выдал мне местонахождение финского убежища террористической группы Зильберберга: это был расположенный изолированно в лесу, неподалеку от водопада на Иматре, отель, – незаметный и не привлекавший к себе никакого внимания дом. Этот дом, именовавшийся „Отель для туристов", был целиком заселен членами террористической группы. Это было деревянное двухэтажное строение с дюжиной комнат, содержавшееся в замечательной чистоте, с лестницами устланными коврами и с хорошим пансионом. Финн Спрениус, владелец гостиницы, симпатизировал борьбе, которую вели его гости с правительством России. К тому же он на этом деле недурно зарабатывал: отель был всегда полон жильцов. Персонал отеля был подобран в соответствии со вкусом и взглядами гостей. Имелся швейцар, почитывавший газеты и любивший поговорить о политике, затем горничная, милое и радушно настроенное существо. Считалось, что оба копят деньгу, чтобы потом поженить-

ся. В качестве гостей допускались только члены террористической группы или рекомендованные ими лица. Если случалось, что появлялся чужак, заблудившийся в лесу и требовавший себе комнату в отеле, ему обычно отвечали, что свободных комнат нет, все заняты.

Лишь однажды швейцар этого отеля допустил исключение. Это было в ледяную стужу, в зимний вечер конца января 1907 года. Два туриста, юная пара, лыжники и влюбленные, попросили отвести им комнату. Они рассказали, что уже несколько часов, в поисках верной дороги, блуждают по лесу. Замученные до смерти и замерзшие, они умоляли только об одном: чтобы им разрешили переночевать в каком-нибудь теплом углу, — на утро они пойдут дальше. Так как каждую минуту грозила разразиться снежная буря, швейцар не решился выгнать в зимнюю ночь эту юную пару, и с согласия Зильберберга предоставил им комнату.

Молодые люди тотчас удалились. Лишь на следующее утро они показались во время завтрака, который в финских отелях обычно бывает за табльдотом. И тогда выяснилось, что новые гости владели целым рядом талантов. Искусно пародируя, рассказывали они о профессорах петербургского университета, изображали радости и горести студенческой жизни, завоевывая симпатии своих слушателей. Ведь и другие жильцы гостиницы были сплошь молодые люди, бывшие студенты, пока не посвятили себя целиком террору; дыханием минувшей мирной жизни веяло на них от этих рассказов. Юная пара всем своим привлекательным обликом стяжала большой успех. Члены Зильберберговской группы радовались от души этой милой молодежи; в их одинокую замкнутую жизнь вошло какое-то веселое оживление. После обеда была предпринята общая прогулка лесом к водопаду, вечером в отель принесли гитару, и обнаружилось, что оба они, стройный молодой блондин и изящная подвижная брюнетка, прекрасно поют и танцуют. Оба, предполагавшие провести лишь одну ночь в „Отеле для туристов", оставались там трое суток. Все с огорчением думали о том, что они должны покинуть отель. Доверие к ним было настолько велико, что их допустили к упражнениям в стрельбе. Их просили еще остаться, но на четвертый день они заявили, что им уже действительно пора уехать. Все общество провожало их довольно далеко, и прощальным словам и всяческим пожеланиям конца не было.

Вернувшись в Петербург, оба туриста прямо заявились ко мне. Они принадлежали к штабу моих лучших агентов. Перед поездкой на лыжах в Финляндию я инструктировал их самым тщательным образом. И надо сказать, что свою задачу они блестяще выполнили. Мужеством, граничащим с безумством, интеллигентностью, искусством общения с людьми они, буквально играючи, снесли все препятствия с пути. В обществе террористов они мастерски играли принятую на себя роль, танцевали и пели, завоевав доверие этих людей и наблюдая их в непосредственной близости. Они смогли мне

назвать не только всех проживавших в „Отеле для туристов" и сообщить мне точное описание каждого отдельного человека, — им удалось завербовать на службу в полицию двух служителей отеля: швейцара и горничную, готовых за умеренную плату систематически информировать нас обо всем, что представляло для нас интерес.

Мы могли теперь каждый поезд, приходящий в Петербург из Финляндии, обследовать, чтобы выяснить, не приехал ли с ним кто-либо из жителей „Отеля для туристов". И очень скоро мне удалось пожать плоды удавшегося предприятия. Короткое время спустя оба моих дежуривших на Финляндском вокзале в Петербурге „студента" узнали среди прибывших пассажиров одного из своих знакомых по „Отелю для туристов", а затем и другого, которого они считали руководителем террористической группы.

Оба были арестованы и приведены в Петропавловскую крепость. Остальные члены группы ускользнули на этот раз. К тому времени, когда по распоряжению царя мы получили возможность и в Финляндии производить аресты, — это гнездо уже опустело. Террористы узнали от финских полицейских, что на финляндской почве началась акция петербургской полиции, — и бежали. В отеле мы нашли только наших агентов: швейцара и горничную. Они прибыли в Петербург и открыто поступили к нам на службу. Им показали заспиртованную голову убийцы градоначальника фон-дер-Лауница — и в ней они также узнали знакомого под именем „Адмирал" жильца „Отеля для туристов". Это явилось доказательством для суда в том, что жильцы „Отеля для туристов" организовали покушение против фон-дер-Лауница.

Личность обоих арестованных я несколько времени спустя узнал от Азефа. Первый был Сулятицкий, террорист, организовавший покушение на Столыпина, тот самый, который 3 января вместе с Кудрявцевым находился в Институте принца Ольденбургского. Другой был руководитель террористической группы — Зильберберг.

Согласно желанию Азефа, я суду не сообщал их имен. Азеф опасался, что эти имена станут тогда также известны публике, и в революционной среде такая осведомленность властей о террористических секретах может возбудить против него подозрение. После полугодичного подследственного заключения военный суд приговорил обоих к смерти. 20 июля 1907 года они были повешены в качестве „неизвестных", отказавшихся назвать свое имя.

Глава 14

ВРАГ В ЦАРСКОМ ДВОРЦЕ

С начала 1905 года, особенно после печального опыта кровавого воскресенья 9/22 января, мысль о цареубийстве упорно стучалась в сознание многих революционеров. Еще Гапон в одной из листовок, выпущенных под свежим впечатлением тогдашних событий, писал в обращении к петербургским рабочим: „Теперь мы больше не имеем царя". Революционные круги видели в личности монарха главное препятствие на пути к свободе, а власти, и политическая полиция в особенности, в течении нескольких лет с 1905 года не имели ни одной минуты, которая была бы свободна от тревоги, что революционные организации устроят покушение на царя. Идея цареубийства висела, можно сказать, в воздухе. Революционеры не довольствовались покушениями на генералов, губернаторов и министров. Они метили в самое сердце системы – в царя.

Так случилось, что в феврале 1907 года я получил довольно неопределенное известие, что террористы разработали план цареубийства. Ввиду того, что источники моей информации для этого случая были малоудовлетворительны, а выжидать долгое время и ставить длительное наблюдение казалось мне слишком опасным, я написал Азефу, находившемуся тогда в Италии, и просил его срочно вернуться в Петербург и помочь мне. В средних числах февраля Азеф вернулся в Петербург. Уже в первое наше свидание он мог сообщить мне чрезвычайно важные данные. По дороге в Петербург он сделал остановку в Финляндии и там беседовал с оставшимися еще на свободе членами обезглавленной зильберберговской террористической группы. Они сообщили ему, что хотя главные руководители группы Зильберберг и Сулятицкий арестованы, но группа тем не менее не только не распалась, а наоборот окрепла и расширила свои связи. Ей удалось даже установить связь с кем-то из личной охраны царя. Было ясно, что террористы готовят покушение. По словам Азефа, план этого покушения был разработан еще не во всех деталях, но насколько можно было судить, предполагалось, что казак должен был помочь подложить адскую машину под царский дворец, под кабинет его величества. Свое сообщение

Азеф закончил указанием имен и адресов новых руководителей террористической группы, занявших эти места после ареста Зильберберга.

Располагая этими данными, я организовал наблюдение. Довольно скоро удалось выяснить, с кем поддерживают связи члены террористической группы вне дворца. Но я не мог нащупать след, ведущий внутрь дворца. Я уже было собирался арестовать всех лиц, попавших в сферу моего наблюдения. Конечно, с точки зрения интересов розыска было бы целесообразнее выждать, пока наблюдение не даст более веских улик против заговорщиков и не выяснит все их связи. Однако, этот нормальный путь в данном случае был слишком опасен. А вдруг террористам удастся ускользнуть от наблюдения и нанести удар? На карту было поставлено слишком многое. Дело ведь шло о жизни Государя. Рисковать я не имел права, и я уже решил было произвести аресты, когда совершенно неожиданно получил дополнительные сведения из другого источника: мне позвонил дворцовый комендант генерал Дедюлин и попросил меня приехать к нему в Царское Село для сообщения чрезвычайно важных известий. Я тотчас же выехал к нему и услышал из уст его следующую авантюрную историю.

– Несколько месяцев тому назад, – рассказал мне Дедюлин, – один из казаков царского конвоя, Ратимов, доложил своему непосредственному начальнику князю Трубецкому, что он познакомился с неким молодым человеком Владимиром Наумовым, сыном начальника дворцовой почтово-телеграфной конторы в Новом Петергофе. Молодой Наумов говорил с ним сначала сдержанно, а потом все решительнее о предстоящей революции и дал ему прочитать революционные прокламации. Трубецкой довел это сообщение казака до сведения начальника дворцовой команды полковника Спиридовича. По указанию последнего, Ратимов продолжал поддерживать сношения с Наумовым, и все, что Ратимов узнавал от Наумова, он тотчас же передавал Спиридовичу. Мы хотели выждать момент, когда Наумов обнаружит свои истинные намерения, – пояснил Дедюлин. – Теперь это произошло. Наумов начал допытываться от Ратимова, каким образом можно добраться до Государя, чтобы совершить на него покушение. Согласно нашему поручению, Ратимов выдавал себя Наумову за „симпатизирующего" и выразил готовность содействовать. Наумов хочет его свести теперь в Петербурге с членами Боевой Организации.

Так далеко зашло это дело, когда мне пришлось взять его в свои руки. Я имел встречу с казаком Ратимовым. В квартире одного из служащих дворца в Царском Селе он лично повторил мне все о своих сношениях с Наумовым. Я заставил его поклясться, что все, что он сообщает, сущая правда. Ратимов поклялся и несколько раз истово перекрестился перед иконой. После этого я предложил ему принять предложение Наумова и встретиться с террористами

в Петербурге. Одновременно я организовал тщательное наблюдение за Ратимовым.

В один из последующих дней Ратимов получил от Наумова для явки петербургский адрес одного адвоката. В своем мундире казака, сопровождаемый незаметно для него агентами полковника Спиридовича, отправился Ратимов в Петербург. Я также поручил своим агентам вести личное наблюдение надо всеми членами зильберберговской группы террористов, указанными мне Азефом, будучи уверен, что именно с ними встретится Ратимов. И все произошло так, как я ранее предполагал.

У дверей петербургской квартиры, куда должен был явиться Ратимов, агенты полковника Спиридовича, следовавшие за ним по пятам, встретились с моими агентами, производившими слежку за Синявским, одним из руководящих членов террористической группы. Таким образом, цепь в этом пункте замыкалась, принося с собой доказательства в том, что, с одной стороны, Ратимов действительно говорил правду, и в том, с другой стороны, что Азеф меня правильно информировал, когда доложил о существующем плане цареубийства.

Вся эта кампания очутилась в моих руках. Я допустил еще несколько встреч Ратимова с террористами. Об этих встречах он докладывал мне. Террористы воздействовали на него при помощи обычных в этих случаях способов убеждения: его имя, мол, покроется славой, он войдет как герой в историю и прочее, — если только примет активное участие в деле... Добивались они от него точного плана дворца и парка в Царском Селе со всеми коридорами, внутренними помещениями, подвалами и погребами.

— Можно ли постороннему человеку, конечно, соответственно переодетому, проникнуть в кабинет царя? — спрашивали террористы.

— Да, если он носит форму казака царского конвоя, — ответил Ратимов.

— Разве не каждый казак лично знаком всем проживающим во дворце? — следовал вопрос.

— Нет, — отвечал Ратимов, — в конвое 100 таких казаков. Разве можно знать в лицо их всех?

— Возможно ли подойти непосредственно к царю во время его прогулки в царскосельском парке?

— Это вполне возможно. Например, если бы женщина-террористка, переодевшись финской молочницей, появилась в парке. Хотя царь постоянно во время прогулок сопровождается несколькими казаками из его конвоя, но они по инструкции следуют в некотором отдалении за ним. Они не обратят внимания на такое повседневное событие, как появление в парке молочницы. Она может таким образом незаметно очутиться в самой непосредственной близости от царя.

– Возможно ли в помещении, находящемся под комнатами царя, заложить мину и затем эту часть дворца вместе с самим царем пустить в воздух? – спрашивали далее террористы.

– Да, – отвечал Ратимов, – такая возможность тоже имеется. Кабинет царя находится в бельэтаже, под которым расположено много комнат, куда доступ сравнительно легок.

В заключение террористы стали уговаривать Ратимова, чтобы он сам взялся совершить покушение. Ратимов уклонялся от ответа. Он однако обещал им кое-что (для террористов чрезвычайно важное), а именно, телеграфно оповещать их о времени прибытия в Царское Село вел. князя Николая Николаевича и Столыпина или о времени их выезда оттуда. Покушения на этих двух лиц, наряду с покушением на царя, стояли в центре внимания террористов.

Эти сообщения Ратимова дали мне более чем достаточно материала для процесса. Особенное значение я предавал телеграммам, которые Ратимов обещал присылать террористам. Теперь мне осталось бы только согласовать свои действия со следственными властями. За несколько часов до ареста заговорщиков прибыла в условленное место телеграмма Ратимова о предстоящей поездке вел. князя Николая Николаевича. Она была найдена во время ареста и послужила одной из главных улик для обвинения.

Наумов, узнавши, что Ратимов все время предавал его и что ему грозит смертная казнь, пал духом. За выдачу всех соучастников заговора следственные власти обещали ему в награду сохранить жизнь, и тогда он во всем сознался. Военному суду было передано 18 человек. Во время судебного разбирательства Наумов отрекся от большей части своих первоначальных показаний, пытаясь облегчить судьбу тех, кого он сам же выдал. Им это помогло чрезвычайно мало. Зато на своей шее петлю он этим поведением затянул. Изменение им показаний побудило суд аннулировать данное раньше обещание о помиловании. Вместе с Синявским и Никитенко он был приговорен к смерти и повешен 3-го сентября 1907 года. Остальные 15 подсудимых получили приговоры на разные сроки в каторгу и ссылку.

Этот процесс в свое время вызвал много шума. Для защиты подсудимых были мобилизованы лучшие силы русской либеральной адвокатуры: Маклаков, Муравьев, Соколов, Зарудный и др. Они стремились доказать, что все это дело о цареубийстве если не создано, то во всяком случае раздуто петербургским Охранным отделением, – и именно мною, его руководителем. Центральный Комитет партии социалистов-революционеров выступил в печати с официальным заявлением о том, что он никакого отношения к этому заговору не имеет и что он вообще никому не давал поручений готовить покушение на царя. На суд в качестве свидетеля-эксперта по ходатайству защиты был вызван известный историк и литератор Мякотин, который утверждал, что раз Центральный Комитет партии со-

циалистов-революционеров официально заявил о своей непричастности к данному заговору, то это значит, что попытка приписать его указанной партии и вообще каким-нибудь серьезным революционерам является искусственной и надуманной, – что в лучшем случае мы имеем тут дело с кружком энтузиастической молодежи, за спиной которой действовали провокаторы, руководимые политической полицией. Авторитетно и категорически Мякотин утверждал, что традиции революционного движения не допускают ложных заявлений со стороны революционных центров и что поэтому к заявлению Центрального Комитета партии социалистов-революционеров нужно относиться с полным доверием. Эти заявления производили впечатление на судей и наносили весьма чувствительный удар всему обвинению. Поэтому прокуратура потребовала вызова на суд меня, как человека, который хорошо знает историю революционного движения и может опровергнуть исторические справки Мякотина.

Суд удовлетворил это ходатайство прокурора, но у меня не было никакого желания появляться на заседании суда. Успешность моей работы во многом зависела от того, что меня никто из революционеров не знал в лицо. Именно поэтому я никогда и нигде не появлялся публично. Выступление в зале суда было бы грубым нарушением этого правила. Я стал бы тогда известен целому ряду адвокатов, родственникам обвиняемых и пр., а среди них несомненно было немало людей, близких к революционерам. Это было абсолютно нецелесообразно. Поэтому первым моим решением было отклонить приглашение суда: я сообщил, что по болезни лишен возможности появиться в здании суда. Этот мой ответ расстраивал все планы прокуратуры. Помощник военного прокурора Ильин, представлявший на этом процессе обвинение, лично приехал ко мне и просил изменить принятое мною решение. Он говорил мне, что экспертиза Мякотина произвела большое впечатление на членов суда – офицеров, которые не знакомы с историей революционного движения. А между тем поражение обвинения в этом деле, которое получило широкую огласку и возымело большое политическое значение, будет тяжелым ударом для правительства. Все это было правильно и с моей точки зрения, но я изложил ему мои мотивы, заставляющие уклониться от выступления на суде. После всестороннего обсуждения Ильин предложил компромисс, при котором публичность моего выступления была бы сведена к минимуму, – а именно предложил устроить нужное заседание суда в помещении Охранного отделения, причем на это заседание будет допущено только минимальное количество лиц. На это предложение я дал свое согласие; принял его и председатель военного суда, которого Ильин ознакомил с причиной моих колебаний. Так случилось, что по процессу Никитенко и других одно из заседаний суда состоялось в большой зале старого здания Охранного отделения (Мойка, 12) – что возбудило, конеч-

но, страсти в либеральных кругах, возмущавшихся тем, что „юстиция" пошла на поклон в полицию.

Даже и в этой обстановке, поскольку на заседании присутствовали адвокаты (родственники подсудимых на это заседание не были допущены), я счел нужным несколько изменить свою внешность, появился слегка загримированным и просил извинения за то, что буду давать свои показания сидя, положив больную ногу на сидение другого стула. Сущность моих показаний была совершенно определенная. В противовес заявлениям Мякотина я категорически утверждал, что дело Никитенко-Синявского является делом рук террористической группы, входящей или примыкающей к партии социалистов-революционеров, что об этом я располагал данными из совершенно авторитетных источников, которые назвать по понятным причинам не могу. Тот факт, что Центральный Комитет партии официально опровергает свою причастность к этому делу, абсолютно ничего не значит, ибо, как свидетельствует история, и в прошлом, и в настоящем все революционные организации не останавливаются в интересах своего дела перед ложными заявлениями. Что касается цареубийства, то насколько мне известно, партия социалистов-революционеров не только не отказалась от этой преступной мысли, но как раз на ее последней конференции при обсуждении вопроса о необходимости усилить террор эта мысль пользовалась всеобщим сочувствием. Вот, приблизительно, были в главном мои утверждения, ряд которых я укрепил ссылками на революционную литературу. Они вызвали протесты в рядах защиты, и один из защитников, кажется, В.А. Маклаков, во время моих показаний с возмущением покинул зал заседания. Суд целиком разделил правильность моей экспертизы...

Глава 15

ЗАГОВОР СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ФРАКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Вторая Государственная Дума по своему составу существенно отличалась от Первой. Отличалась она также характером заседаний. В то время как в первой Государственной Думе социал-демократов было очень немного, а социалистов-революционеров официально совсем не было – теперь во Второй Думе обе эти социалистические фракции были представлены десятками членов, среди которых имелись хорошие ораторы. Но и другое крайнее крыло, отсутствовавшее в Первой Думе, сейчас также выросло: во Второй Думе было немало депутатов-монархистов, выступавших с думской трибуны, не скрывая своих взглядов. Руководящая роль в Государственной Думе принадлежала партии конституционалистов-демократов, которая решила изменить характер деятельности Думы и стремилась доказать, что она способна к так называемой органической работе, и с этой целью создала много комиссий, рассматривала правительственные законы, вырабатывала свои законопроекты. Для П.А.Столыпина уже очень скоро выяснилась невозможность работать с этой Государственной Думой, так как несмотря на изменение тактики кадетов, они по существу все же выставляли совершенно неприемлемую для Столыпина программу. Но положение делалось особенно невозможным ввиду той активной тактики, которую вели думские социалисты, особенно социал-демократы. Они были гораздо более активны во Второй Государственной Думе, чем в Первой. Они действовали более организованно и много внимания уделяли работе в армии, возлагая серьезные надежды на военные восстания. В этой связи они с трибуны Государственной Думы произносили агитационные речи по вопросу об армии, о положении солдат, возбуждая в них недовольство и т.д. Такого рода выступления вызывали большое раздражение. Особенно острый инцидент был связан с речью депутата социал-демократа из Тифлиса Зурабова.

Во время обсуждения одного законопроекта военного ведомства, Зурабов произнес речь, оскорбительную для армии, что армия умеет только пятки показывать неприятелю. Министры во главе со

Столыпиным заявили решительный протест против подобных выражений, добились лишения Зурабова слова и исключения его из заседания Государственной Думы. Столыпин ждал, что офицерство будет со своей стороны активно реагировать на это оскорбление, и был очень разочарован тем, что никаких выступлений с его стороны не последовало. „Из-за каких-то пустяков они готовы друг друга в гроб отправить, а вот когда все офицерство оскорблено, никто и не подумал о вызове на дуэль", — говорил он. Помню, мы затронули вопрос о мотивах такого поведения офицеров и сошлись на том, что главную роль в этом случае играет тот факт, что помощником Главнокомандующего войсками Петербургского военного округа является генерал Газенкампф. Это был широко образованный юрист, участник русско-турецкой войны, сотрудник либерального журнала „Вестник Европы". Состоя помощником при великом князе Николае Николаевиче, он имел большие полномочия, чем обычно, так как в функции командующего округом входило утверждение приговоров военных судов, а вовлекать великого князя в политическую борьбу и тем самым ставить его под непосредственные удары террористов считалось неудобным. Своими правами генерал Газенкампф пользовался в целях смягчения судебных приговоров и в то же время оказывал на офицеров петербургского гарнизона влияние в либеральном духе.

Столыпин не раз возвращался к этой теме относительно военной агитации социал-демократов, указывая на необходимость принять самые решительные меры против развития такой агитации в дальнейшем. У социал-демократов, как и у социалистов-революционеров, существовали специальные военные организации, издававшие нелегальные газеты и прокламации для солдат и устраивавшие нелегальные собрания. Деятельность военной социал-демократической организации находилась под моим постоянным наблюдением. В числе моих секретных агентов была, между прочим, Екатерина Шорникова, известная под кличкой „Казанская". Она была из Казани и там была завербована в секретные сотрудницы жандармским офицером Кулаковым. Летом 1906 года Кулаков был переведен в Петербург на должность моего помощника и в разговоре сообщил мне, что сотрудница Шорникова переехала в Петербург вслед за ним и хочет здесь работать. Я повидался с нею. Она произвела на меня впечатление человека серьезного, достаточно хорошо знакомого с партийной литературой и партийными отношениями и потому вполне подходящего для работы в качестве агента в Петербурге. Я разрешил Кулакову принять ее на службу. Когда Кулаков в начале 1907 года заболел, Шорникова перешла в ведение полковника Еленского, который отзывался о ней в разговорах очень хорошо. Шорникова с самого начала работала в военной организации в качестве пропагандистки, иногда выполняла обязанности секретаря, что давало ей возможность быть осведомленной

о всех делах организации. Именно она первая сообщила о попытках социал-демократических депутатов непосредственно связаться с военными организациями.

29 апреля 1907 года в общежитии Политехнического Института состоялось собрание распропагандированных солдат, на котором присутствовал член Государственной Думы социал-демократ Герус. На этом собрании было решено послать от имени социал-демократической военной организации делегацию в социал-демократическую фракцию Государственной Думы и представить ей особый наказ (петицию) с изложением пожеланий солдат. Составление наказа было поручено литератору Войтинскому. Охранное отделение сделало попытку арестовать собрание, но, предупрежденное о приходе полиции, оно успело разойтись. Шорникова присутствовала на этом собрании и подробно о нем доложила. Еленский, имевший от меня особую инструкцию относительно наблюдения за связями депутатов Государственной Думы с военными организациями, немедленно доложил мне о результатах состоявшегося 29 апреля собрания. Так как я имел от Столыпина прямое указание никаких арестов членов Государственной Думы и никаких обысков в связи с ними не предпринимать без его разрешения (он не хотел напрасно раздражать Государственную Думу), то я при первом же очередном докладе сообщил Столыпину о предстоящем появлении в социал-демократической фракции Государственной Думы делегации солдат Петербургского гарнизона. Прежде чем принять решение, Столыпин пожелал ознакомиться с тем наказом, который будет вручен членам Государственной Думы от лица солдат, и Шорникова, участвовавшая в подготовке солдатской делегации, смогла доставить копию этого наказа. Ознакомившись с текстом, Столыпин заявил, что такая солдатская делегация ни в коем случае допущена быть не может и что должны быть произведены аресты, хотя бы это и повлекло за собой конфликт с Государственной Думой. Он потребовал, чтобы аресты были произведены в тот момент, когда солдатская делегация явится в социал-демократическую фракцию, чтобы так сказать депутаты были схвачены на месте преступления.

Согласно этим указаниям, я подписал ордер на производство обыска в помещении социал-демократической фракции, поручив Еленскому организовывать все дальнейшее. Филеры должны были проследить момент прихода солдатской делегации, и по их сообщению отряд полиции должен был немедленно явиться в помещение фракции для ареста. 5 мая в 7 ч. 30 мин. вечера в помещение фракции, находившейся тогда на Невском проспекте, 92, явилась делегация солдат. Филеры немедленно дали знать в Охранное отделение. Меня в это время там не было. Не знаю почему, Еленский несколько задержался, и потому, когда отряд явился в помещение фракции для ареста, то делегации солдат он там уже не застал. После

я узнал, что для самой социал-демократической фракции появление этой делегации оказалось полной неожиданностью, что большинство депутатов было очень недовольно появлением переодетых солдат, — а потому, приняв от них наказ, депутаты поспешно выпроводили их из помещения через черный ход. Отсутствие солдат несколько смутило чиновника Охранного отделения, явившегося для производства обыска. Несмотря на бывшие у него прямые и точные инструкции, он замешкался с приступом к пересмотру имевшихся во фракции документов, дав тем самым возможность членам Государственной Думы, ссылавшимся на свою депутатскую неприкосновенность, уничтожить целую массу компрометирующих бумаг, в том числе и только что полученный ими наказ. Только часа через два, после того как явились представители судебной власти, было приступлено к обыску. Несмотря на все эти обстоятельства, найденные документы оказались достаточными для того, чтобы установить полную связь социал-демократической фракции с нелегальными партийными организациями вообще и специально с военными организациями. Делегация солдат, успевшая скрыться из помещения фракции, была арестована в казармах, ее личный состав через Шорникову был нам в точности известен. На первом же допросе один из арестованных солдат (матрос морского экипажа Архипов) вполне откровенно сознался и рассказал все, как было. Так как наказа при обыске не было обнаружено, то по просьбе прокуратуры я сообщил ей ту копию наказа, которая у меня имелась. Арестованные солдаты подтвердили тождество этой копии, и она была присоединена к делу и фигурировала на судебном процессе.*

У Столыпина состоялось совещание с прокурором судебной палаты и с министром юстиции Щегловитовым о дальнейшем направлении дела. Решено было предъявить Государственной Думе требование о выдаче социал-демократических депутатов для суда, не останавливаясь, в случае ее несогласия, перед роспуском Думы. По существу Столыпин рассчитывал именно на несогласие Государственной Думы. К этому времени окончательно выяснилось, что с Государственной Думой в этом составе работать немыслимо. В течение всего мая месяца шла подготовка избирательного закона, так как Столыпин пришел к убеждению, что при старом

---

* В связи с этим судебным процессом на меня посыпалось много нареканий. Даже в немецкой прессе появилось утверждение, что наказ был сфабрикован чуть ли не мною самим. В этой связи мне достаточно отметить, что автор наказа В. С. Войтинский в своих воспоминаниях, напечатанных в журнале „Летопись Революции" (Кн. 1, Берлин, 1923), подробно рассказал историю составления этого солдатского наказа и признал, что он был его автором.

Виттевском законе состав Государственной Думы неизбежно будет левым, не представляющим верно всю страну. Случилось так, как ожидали. Несмотря на колебания в некоторой части конституционалистов-демократов, большинство Государственной Думы отказалось немедленно выдать социал-демократических депутатов суду, и 3-го июня Вторая Государственная Дума была правительством распущена. Социал-демократические депутаты были арестованы и осуждены Особым присутствием Сената, большинство – на каторжные работы.

Глава 16

ЗАГОВОР ПОД МОИМ НАБЛЮДЕНИЕМ

Судебным приговором над группой Никитенко-Наумова были уничтожены последние остатки террористической организации Зильберберга. Я надеялся, что сейчас наступит передышка. Во всяком случае, на время казались невозможными всякие планы покушения на царя. Но мои надежды очень скоро разбились.

Вскоре после приговоров Военного Суда я получил известие, что Центральный Комитет партии социалистов-революционеров поставил своей официальной боевой задачей – убийство царя и что в подготовке этого плана он пошел уже гораздо дальше, чем было до сих пор. Эта задача не должна была более вверяться небольшой, находившейся только в слабой связи с Центральным Комитетом группе лиц, обнаруживающих порой незрелость и поверхностный дилетантизм. Нет, Центральный Комитет решил создать такую боевую организацию, которая шла бы осознанно к осуществлению своей цели и предохранила бы заранее свои планы от всяких непредвиденных случайностей. Люди, устранившие Плеве, великого князя Сергея и многих других, эти грозные фигуры недавних лет, должны были взять теперь в свои руки осуществление плана убийства царя.

Итак, я очутился лицом к лицу с опасным врагом. На карту было поставлено все. И я со своей стороны должен был решиться ввести в бой все силы, все свое оружие и все имеющиеся у меня резервы. И прежде всего я решил обеспечить себе поддержку моего лучшего сотрудника, Азефа, которому часто удавалось вести целые группы революционеров, вопреки всем их планам, туда, куда он хочет. В данном чрезвычайном случае я решился на чрезвычайные шаги.

Еще раньше партия социалистов-революционеров предложила Азефу взять на себя верховное руководство Боевой Организацией; тогда он рассказывал мне об этом как о самом изумительном факте в своей богатой приключениями жизни, и я сам, скрепя сердце, предложил Азефу принять это предложение партии. Он колебался. Эта двойная игра могла ему слишком дорого обойтись. Но в кон-

це концов он выразил готовность пойти на это в согласии с моим желанием. Разумеется, я получил перед тем санкцию Столыпина на этот рискованный шаг.

Учитывая все исключительные трудности и опасности, связанные с этим предприятием, Азеф со своей стороны выдвинул условие, что ни один из членов его террористической группы не должен быть арестован. На этой основе я заключил с ним договор, который звучал коротко и ясно: Азеф принимает на себя руководство Боевой Организацией и руководит всей подготовкой покушения на царя с тем, чтобы это покушение не могло быть проведено в жизнь. Под этим условием я гарантирую ему, что ни один из членов Боевой Организации не будет арестован. Этот договор был обоими сторонами лояльно выполнен.

Из среды наиболее активных революционеров Азеф подобрал себе группу террористов в составе до десяти человек. Ближайшим его адъютантом был бывший студент Петр Карпович. В 1901 году он убил министра народного просвещения проф. Боголепова, был приговорен к двадцатилетней каторге, бежал из Сибири и теперь предложил Азефу свои услуги. Благодаря Азефу я систематически бывал осведомлен обо всех планах и делах членов террористической группы. Они проживали в Финляндии, лишь время от времени наезжая в Петербург, чтобы выполнить ту или иную, имеющую отношение к покушению на царя, необходимую задачу. О каждой из таких поездок я получал от Азефа точнейшее известие. Я мог ежедневно сказать, кто из состава террористической группы находится в Петербурге и что именно он здесь делает.

Эта полная и непрерывная осведомленность дала мне возможность заключить своего рода договор с дворцовым комендантом генералом Дедюлиным. До сих пор, когда Государь, который эти годы обычно жил в Царском Селе или Петергофе, должен был приехать в Петербург, об этом ставился в известность петербургский градоначальник, он мобилизовал для охраны весь полицейский аппарат. Усиленные наряды полиции устанавливались на всем пути следования царя с вокзала во дворец, и тогда уже внешний, бросающийся всем в глаза вид улиц делал для всех понятным, что царь находится в Петербурге. Мой метод охраны царя был совсем иным. Когда Дедюлин сообщал, что царь собирается ехать в Петербург, то мне нужно было только точнее выяснить, будет ли в этот день кто-нибудь из террористов в Петербурге? Переговорив с Азефом и выяснив это обстоятельство, я мог легко решить, может ли состояться в этот день поездка царя или нет. Если в городе в этот день должен был быть какой-либо из террористов, то я обычно высказывался против поездки:

– Сегодня нет, – говорил я по телефону в Царское Село, – лучше завтра или послезавтра, – и моему решению царь следовал без возражения.

Когда же в воздухе не таилось никакой угрозы, я давал согласие на приезд царя, — и никто из властей, кроме меня, об этом не бывал осведомлен. Я оповещал о поездке только председателя совета министров Столыпина. Наружная полиция, а также градоначальник ничего об этом не знали. Это давало повод к упрекам и жалобам.

Несколько раз случалось, что вечером градоначальник звонил мне по телефону.

— Скажите, верно ли это? Мои люди мне донесли, что сегодня они видели Государя на Невском проспекте.

— Да, это верно.

— Но так ведь нельзя, — возмущался градоначальник, — ведь в этих условиях я не могу принять на себя ответственность за охрану Государя.

— Об этом не беспокойтесь, — говорил я, — всю ответственность я беру на себя.

Градоначальник помчался аппелировать к Столыпину, но жалобы его остались без последствий. И не удивительно: ведь заранее имелось согласие Столыпина, чтобы все шло по моей системе.

В то время, как я всемерно старался удержать в силе условия моего соглашения с Азефом как с руководителем Боевой Организации, он без всякой моей вины стал жертвой непредвиденного случая. Совершенно случайно один мелкий сотрудник Охранного отделения узнал, где проживает бежавший из Сибири знаменитый террорист Карпович, — и он, конечно, захотел показать своему начальству, какой он исправный полицейский служака. Недолго раздумывая, он арестовал Карповича, рассчитывая, понятно, что таким образом он сослужит замечательную, выдающуюся службу политической полиции.

Для меня этот непредвиденный арест адъютанта Азефа явился исключительно неприятным случаем. Кажется, на следующий же день ко мне явился Азеф, и тут во второй раз в жизни я увидел, каким сердитым он может быть. Я вспомнил нападение Азефа на Рачковского, свидетелем которого я был за полтора года перед тем и которое так развлекло меня тогда. Но на этот раз его раздражение было направлено против меня.

— Как вы могли это допустить? — волновался Азеф. — Мое положение теперь стало совершенно невыносимым! И без этого ареста подозрение против меня очень велико. Если человек, с которым я ежедневно общаюсь, теперь взят, в то время как я гуляю на свободе, — то всякий должен заключить, что я предал Карповича в руки полиции. В таких условиях я абсолютно не могу сотрудничать. С меня довольно. Я устал жить среди вечных тревог. Я ухожу из Охранного отделения и уезжаю за границу.

С большим трудом мне удалось успокоить Азефа. Пришлось при этом обещать ему, что Карпович будет в самом скором време-

ни освобожден. Но это было легче сказать, чем сделать. Официально освободить Карповича из-под ареста было, конечно, невозможно. Карпович не должен был знать, что своим освобождением он обязан полиции. Для этого не было иного пути, кроме устройства ему побега. Но он должен бежать, абсолютно не подозревая, что мы ему в том помогли.

После некоторого раздумья я выработал следующий план. Карповичу было объявлено, что он арестован по подозрению в проживании по фальшивому паспорту. Он должен быть теперь отправлен на родину, где власти установят его личность. Одному из своих наиболее толковых чиновников я поручил доставить Карповича из тюрьмы при Охранном отделении в пересыльную тюрьму и дать возможность по дороге арестанту бежать.

– Сделайте это, как вы хотите, – сказал я ему на дорогу, – мне безразлично, как. Существенно одно: Карпович должен бежать...

Оба они отправились из Охранного отделения. Спустя несколько часов вернулся мой чиновник и, вытирая обильный пот со лба, доложил:

– Это было трудное дело... Не так просто заставить человека бежать, когда он бежать не хочет.

Мой чиновник, одетый в форму полицейского надзирателя, нанял извозчика по выходе из Охранного отделения, – разумеется, это была наша пролетка и кучер был нашим агентом, – и немедленно повез Карповича по пути в пересыльную тюрьму.

– По дороге, – рассказывал дальше мой чиновник, – я сказал Карповичу: – Обождите тут немного. Я должен папирос купить. – Я поплелся в табачную лавочку, болтал там добрых четверть часа с продавщицей и потом вернулся к пролетке. Я был убежден, что не найду уже в ней Карповича. Но к моему ужасу он все еще там. Ничего не поделаешь, пришлось ехать дальше. Немного позднее я заявил Карповичу, что мне хочется пить и я зайду в трактир выпить пива. Снова я провел там четверть часа, и, возвращаясь, вижу – мой голубчик так и продолжает сидеть в пролетке и ждать меня. Можно было от всего этого прямо придти в отчаяние... Мне ничего более не оставалось, как предложить Карповичу зайти со мной вместе в трактир поесть. Он принял мое приглашение. Мы уселись за стол, заказали еду и стали есть. При этом я начал жаловаться ему, как трудно нам, мелким служащим полиции, приходится: много работы, небольшой оклад, тревоги и опасности. Мы вынуждены хороших людей арестовывать, когда у самих душа так и болит. А потом я встал и вышел якобы в уборную – с твердым решением не возвращаться, пока Карпович не уйдет.

Стоя за приоткрытой дверью уборной, я наблюдал в щелку Карповича. Дверь, выходящая на улицу, была открыта. Посетители приходили и уходили. Карпович сидел за столом, ел и пил. Лакею

я сообщил, чтоб он не мешал господину уйти, и сам ему за все заплатил. Но Карпович продолжал еще довольно долгое время сидеть. Наконец, он поднялся и начал ходить от стола к двери, туда и сюда, туда и сюда. Я потерял уже всякую надежду на то, что он уйдет, но наконец он решился. Он подошел к двери и вышел на улицу. Я ждал еще некоторое время в страхе, что он может вернуться. Потом я осмелился выглянуть. Он, действительно, ушел... Непонятно, как такой человек мог бежать с сибирской каторги.

Так рассказал мне мой сотрудник о побеге Карповича. Азеф был доволен. С ликующим видом Карпович рассказывал ему о непроходимой глупости полиции.

Глава 17

СЕМЬ ПОВЕШЕННЫХ

Договор, заключенный мною с моим агентом Азефом, выдвинутым в качестве вождя террористической боевой организации, оправдал себя в полной мере. Никаке планы террористов не нарушали более моего сна. Некоторые из этих планов становились мне известны буквально с первого момента их зарождения. В результате – на каждом шагу мероприятия террористов натыкались на стену моих контр-мероприятий. Постепенно они должны были прийти к убеждению, что пустились в дело, превосходящее их силы. Организация полиции брала верх над организацией революции. Но это относилось только к центральной организации, во главе которой стоял Азеф. Опасность со стороны различных второстепенных групп была по-прежнему значительна.

Наиболее опасной среди них была группа Северного Летучего Боевого Отряда, которая возникла еще осенью 1906 года и уже совершила ряд террористических покушений. Я расспрашивал о ней Азефа, но он сообщил мне, что она не подчинена Центральному Комитету партии социалистов-революционеров, а действует, поддерживая связи с местными комитетами, на свой страх и риск, и что ему, Азефу, собрать о ней сведения очень трудно, так как это может навлечь на него подозрения. Только осенью 1907 года, вскоре после убийства начальника тюремного управления Максимовского террористкой Рогозинниковой (28 октября 1907), и после моих усиленных просьб, Азеф согласился пойти на свидание с руководителями этой группы. Свидание состоялось где-то в Финляндии, а потому Азеф не мог нам „показать" интересовавших нас террористов. Но сведения, сообщенные им о составе и планах группы, были очень интересны. Я и раньше знал, что главным руководителем группы является террорист, носящий псевдоним „Карл". Но только от Азефа я получил подробное описание его примет и приблизительные указания на местность в Финляндии, где он живет. По словам Азефа это был человек совершенно исключительной предприимчивости и смелости. „Пока он на свободе, – говорил мне Азеф, –

вы не сможете быть спокойным." В настоящее время, сообщил Азеф, он носится с планами взрыва Государственного Совета. Никаких конкретных данных относительно этого предприятия Азеф сообщить не смог, но указал, что, по его сведениям, террористы имеют в виду бросить бомбу в тот сектор зала, где сидят правые члены Государственного Совета, – в том числе все министры и в сущности кандидаты в будущие министры, – ибо из числа членов Государственного Совета по назначению обычно рекрутировались руководящие деятели русского правительства. Он также обратил мое внимание на то, что покушение может быть совершено кем-нибудь из террористов, проникших в помещение под видом корреспондентов. В результате этого рассказа Азефа и был усилен контроль над ложей журналистов Государственного Совета, производились осмотры портфелей, личные обыски и прочее. Он же помог мне и проследить „Карла", который вскоре и был арестован на одной из дач в Финляндии. Это был латыш, участник вооруженного восстания 1905 года; его настоящая фамилия была Трауберг.

Этот арест нанес тяжкий удар группе террористов, но не оборвал ее деятельность. В самом конце 1907 года ко мне поступило известие, что покушения готовятся на великого князя Николая Николаевича и на министра юстиции Щегловитова. Сообщили мне также, что русский новый год 1908 был назначен днем покушения: террористы хотели использовать случай, когда великий князь и министр явятся на новогодний прием к царю. Никаких более точных и подробных сведений, – в частности о лицах, участвующих в этом заговоре, – мой секретный сотрудник однако сообщить не мог. Только из вторых рук он слыхал, что об этом плане шла речь в Центральном Комитете.

Запрошенный об этом мною Азеф сказал, что это сообщение верно, что в Центральном Комитете действительно был разговор об этих планах, но что никакие подробности и ему неизвестны. Наводить справки он отказался, опасаясь, что может вызвать против себя новые подозрения. Я оказался в очень трудном положении – быть может, в одном из наиболее трудных за всю мою жизнь.

На новый год я установил дежурство моих агентов у дворца великого князя и у квартиры министра юстиции. Я сам отправился к великому князю и к Щегловитову и предложил им этот день проводить дома. Оба решительно отказались последовать моему совету. Великий князь даже рассердился. Никто его не удержит, говорил он, от поездки к своему царю. Не зная как быть, я обратился за помощью к Столыпину, а последний передал дальше мою просьбу царю. И царь, и Столыпин поддержали мою просьбу и просили великого князя Николая Николаевича не рисковать своей жизнью и не приезжать к новогоднему приему. Но до самой последней минуты я так и не знал, послушался ли великий

князь этих просьб. Несколько раз он менял свои решения, то приказывая подать лошадей или автомобиль, то — отменяя эти распоряжения. В конце концов, он остался дома. Так поступил и министр юстиции Щегловитов.

Моим агентам было приказано арестовывать любого прохожего, если только он вызвал малейшее подозрение. Но на празднично оживленных улицах, в толпе нарядно одетых людей распознать террористов было совершенно невозможно. Был произведен целый ряд арестов, но ведь террористы не носят мундира, и из числа арестованных никто не имел отношения к готовившемуся покушению.

Новогодний день прошел без всяких осложнений, но мои тревоги не окончились. Днем позже мой агент принес известие, что от покушения террористы не отказались, — оно только отложено. Они приложат все усилия к тому, чтобы его совершить. Так прошло пять недель — мучительное для меня время. Находившиеся под угрозой покушения жили, как в осажденной крепости, почти не покидая своих домов, — в сознании, что на каждом углу их подкарауливают люди с бомбой в руках. Великий князь Николай Николаевич кончил тем, что тайком уехал из города. Положение, напоминавшее собой начало моей деятельности в Петербурге, когда я разыскивал следы группы Швейцера.

Всеми розысками руководил, конечно, я сам, отдавая этому делу целые сутки, — и все же не делал ни шага вперед. При каждой встрече с Азефом я просил его узнать мне хоть какую-нибудь мелочь, которая помогла бы мне напасть на след заговорщиков. Но Азеф неуклонно отвечал отказами: он ничего не знал и не мог узнать. Наконец, в первые дни февраля он принес мне известие, которое, пожалуй, могло быть полезно. На одном из очередных заседаний Центрального Комитета была высказано нетерпение медлительностью акции, направленной против великого князя, и один из членов Центрального Комитета при этом заметил: „Дальше так не может продолжаться. Мы должны предложить Распутиной быстрее действовать..."

Это было немного, но все же это было, наконец-то, какое-то имя: Распутина. Это был не псевдоним, а подлинное имя одной старой революционерки, как я узнал от Азефа. Распутина уже несколько раз сидела в тюрьмах, была в сибирской ссылке. И мне была знакома ее деятельность в партии, но я не предполагал, что она примкнула к террористам. Азеф считал, что, подобно другим террористам, она проживает под чужим именем, по фальшивым документам, и что нет смысла выяснять официально ее местожительство. Мало надежды разыскать Распутину этим путем было и у меня, и больше для очистки совести я поручил агенту навести справку в полицейском адресном столе. К моему чрезвычайному изумлению, он через несколько часов сообщил мне, что эта самая Анна

Распутина проживает под своим настоящим именем в Петербурге, на Невском проспекте.

Я потребовал из Департамента Полиции фотографию Распутиной, имевшуюся там еще со времени ее прежних арестов, – и послал своего агента с этой фотографией на квартиру Распутиной. Скоро он протелефонировал мне, что на квартире он видел ту самую женщину, которая показана на фотографии, и что в этой квартире имеется еще одна свободная комната, которую можно снять. Я решил эту комнату сам снять, чтобы вблизи наблюдать Распутину. Переодевшись в штатское, я явился на квартиру и просил показать мне сдающуюся в наем комнату. Это была небольшая, скверная, грязноватая комната, выходившая во двор. Недостатков в ней было много, но было и одно преимущество: тонкие стены, которые должны были обязательно пропускать всякий звук из соседней комнаты, где проживала Распутина. Я однако допустил бы ошибку, если б снял эту комнату: я был слишком хорошо для нее одет, в дорогой шубе, и это не могло не вызвать подозрений. Поэтому я заявил, что мне комната не подходит и вместо себя прислал двух молодых агентов, в студенческой форме, которые тотчас сняли комнату.

Наблюдение на квартире велось в течение трех дней. Агенты просверлили для этого маленькое отверстие в стене и подсматривали за всем, что делала Распутина. Но гораздо интереснее того, что они увидели в комнате Распутиной, были данные наблюдения за жизнью и деятельностью Распутиной вне ее комнаты. Ее поведение было на редкость своеобразно!

Каждое утро приходила она в собор Казанской Божьей Матери, покупала свечу, ставила там перед образом, опускалась на колени и погружалась в молитву. Нередко, подобно другим молящимся, она склонялась к земле, касаясь лбом церковного пола, оставалась в таком положении по 10-15 минут. Столь усердные молитвы со стороны террористки были совершенно непонятны, и мои агенты, тщательно наблюдавшие за ней, впадали в смущение и только покачивали головами по поводу поведения Распутиной, – пока они не начали замечать рядом с Распутиной в таком же коленопреклоненном состоянии и религиозной сосредоточенности других молящихся мужчин и женщин, которые порой шептались с ней и принимали от нее разные предметы. Однажды таким образом был передан ею довольно объемистый предмет, – возможно, что бомба.

Таким образом, под покровом собора Казанской Божьей Матери члены террористической группы организовали конспиративные сношения между собой. Мои агенты, естественно, узнали в лицо всех, общавшихся „в молитве" с Распутиной, и вели наблюдение за ними на улицах, парках, кафе. Некоторых из них они встречали в районах дворца Николая Николаевича и дома Щегло-

витова. Не было никакого сомнения, что именно они готовили покушение.

Великий князь и Щегловитов слишком нервничали, поэтому я не мог позволить себе роскошь наблюдения для выяснения всех связей террористической группы. 20 февраля по моему приказу было арестовано 9 человек. Почти все были взяты на улице. Многие из них были хорошо вооружены. У троих были найдены бомбы. Когда к двум из них хотели приблизиться мои агенты, чтобы их арестовать, – к молодой девушке и юноше, сидящим на скамье в тихой и нежной беседе недалеко от дома Щегловитова, – другие агенты из охраны Щегловитова отговаривали их от этого шага: „Оставьте в покое эту любовную парочку! Они тут постоянно сидят и шепчутся между собой". Но мои агенты не дали себя уговорить, подошли поближе и хотели обоих взять. В этот момент молодая девушка молниеносно выхватила револьвер и выстрелила. Пуля попала в агента и не ранила его только потому, что не могла пробить его толстого пальто. Молодой человек при аресте не оказал сопротивления. Третий из террористов крикнул агентам, пытавшимся его взять: „Осторожно! Я весь обложен динамитом. Если я взорвусь, то вся улица будет разрушена." Четвертый террорист был взят около дворца великого князя с цветочным горшком, в котором была спрятана бомба.

Молодая девушка из „влюбленной четы" была Лидия Стуре. Ей было 21-22 года – и она казалась еще моложе. Ее партнером был террорист Синегуб. Человек, забронированный в динамит, был Всеволод Лебединцев, одна из замечательных фигур в революции, ученый астроном, долго проживавший в Италии и выдававший себя в Петербурге за корреспондента итальянской газеты Марио Кальвино (по такому корреспондентскому билету он проходил в Государственный Совет). С большими предосторожностями Лебединцева доставили в Охранное Отделение. Он по всему телу был опоясан динамитными шнурами. Террористы предполагали бросить бомбу в карету министра. Если бы это не удалось или бомба бы не взорвалась, Лебединцев предполагал сам в виде живой бомбы броситься под карету министра и погибнуть вместе с ним.

При обыске на квартирах террористов были обнаружены комплекты полицейских мундиров, а также план залы заседания Государственного Совета, где было крестом отмечено место расположения скамей правых членов Совета.

Все 9 террористов были преданы военному суду. Суд состоялся через неделю. Семеро из них, в том числе Распутина, Стуре, Синегуб, Лебединцев, были приговорены к смертной казни и повешены. Остальные получили долголетнюю каторгу. Фамилия Лебединцева была установлена только на суде.

Потом мне говорил прокурор, официально по своей должности присутствовавший на казни террористов: „Как эти люди умира-

ли... Ни вздоха, ни сожаления, никаких просьб, никаких признаков слабости... С улыбкой на устах они шли на казнь. Это были настоящие герои."

Они в этом отношении не были исключением: все террористы умирали с большим мужеством и достоинством. Особенно женщины. В моей памяти до сих пор отчетливо сохранился рассказ о том, как умерла Зинаида Коноплянникова, повешенная за убийство командира Семеновского полка генерала Мина, который в декабре 1905 года подавил восстание в Москве. Она взошла на эшафот, декламируя строки Пушкина:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Героизм этой молодежи, надо признать, привлекал к ней симпатии в обществе. Леонид Андреев вдохновился этой темой и написал о террористах пресловутую повесть „Семь повешенных".

Глава 18

СВИДАНИЕ МОНАРХОВ В РЕВЕЛЕ

Зима прошла без удач для террористов, готовивших покушение на жизнь Государя. Они вырабатывали все новые и новые планы, вели разведку в разных направлениях. Но каждый раз натыкались на препятствия, оказывавшиеся для них непреодолимыми. С помощью Азефа, числившегося главным руководителем Боевой Организации, я без труда расстраивал все ее предприятия. О действительной причине своих неудач террористы не догадывались – но раздражение их, естественно, возрастало, и вместе с тем возрастала их решимость пойти на все, только бы достигнуть намеченной цели. Особенного напряжения достигло их настроение к весне.

Как раз в это время стало известно о предстоящем вскоре приезде английского короля в Россию. Первоначально Эдуард VII собирался нанести Государю визит в Петербурге. Говорили, что ему очень хотелось посмотреть нашу столицу и самому понаблюдать ее жизнь. Этот план отпал, так как Государь самым решительным образом высказался против него. Я не знаю, какой официальный предлог был приведен в дипломатических сношениях для того, чтобы убедить Эдуарда VII согласиться на свидание в другом городе, но действительные мотивы, как мне рассказывал Столыпин, состояли в том, что пребывание английского короля в Петербурге было не по душе Государю.

– Он привык у себя в Англии свободно повсюду ходить, а потому и у нас захочет вести себя также. Я его знаю, он будет посещать театры и балет, гулять по улицам, наверно захочет заглянуть и на заводы, и на верфи. Ходить с ним вместе я не могу, а если он будет без меня – вы понимаете, какие это вызовет разговоры. Поэтому будет лучше, если он сюда не приедет, – так мотивировал Государь свое решение.

В результате дипломатических переговоров местом встречи монархов был избран Ревель, который представлял много удобств. Там была военная гавань, чрезвычайно удобная для встречи имеющей прибыть английской эскадры. Там легко было и все остальные торжества организовать так, чтобы пребывание монархов на суше

было сведено к минимуму. Согласно разработанной программе, кажется, все без исключения торжественные приемы должны были происходить на судах русской и английской эскадры. Никто из террористов, которые захотели бы организовать покушение на жизнь высоких особ, не мог приблизиться к ним на сколько-нибудь близкое расстояние. С точки зрения охраны особы Государя условия в Ревеле не оставляли желать лучшего, — а это было в высшей степени важно, так как революционеры, как только узнали о предстоящем свидании в Ревеле, решили использовать поездку Государя для совершения на него покушения.

Когда революционеры принимали это решение, Азеф против него не возражал: это было бы бесполезно, и только вызвало бы против него подозрения. Но, конечно, как только это решение было принято, он немедленно же поставил меня в известность о нем. Обсудив положение, мы и теперь решили продолжать нашу старую испытанную тактику игры с террористами. Азеф, правда, на этот раз пошел на нее с меньшей, чем обычно, охотой. Он говорил, что очень устал от вечно-напряженного состояния, боится растущих против него подозрений и хотел бы уйти на покой, — покончить со службой на полицию и уехать за границу, чтобы жить там спокойной, мирной жизнью. Не без труда удалось мне уговорить его отложить на некоторое время приведение в исполнение его плана. Пришлось обещать, что это дело будет последним и что после благополучного его проведения я уже не стану возражать против его отъезда за границу. Отпустить же его до ревельского свидания я не мог ни в коем случае: оно должно было явиться решающим испытанием для всей моей системы работы.

К предстоящему свиданию в Ревеле было приковано внимание всей Европы. Покушение, даже неудачное, совершенное во время тамошних торжеств, — неизбежно имело бы и большие политические последствия. В глазах иностранцев оно было бы доказательством продолжающейся непрочности положения внутри страны — и это могло бы оказать серьезное влияние на те дипломатические переговоры, которые должны были вестись во время ревельского свидания. Именно поэтому Столыпин с особенной настойчивостью просил меня так поставить дело, чтобы это свидание обошлось без всяких неприятных осложнений. Именно поэтому и я был готов обещать Азефу все, чего бы он ни попросил, — лишь бы он помог мне „провести" и это дело.

В это время я относился к Азефу уже с полным доверием и потому дал ему большую свободу действий, — поставив только обязательным условием держать меня в курсе всех без исключения передвижений членов его террористической группы. Он это свое обещание держал с обычной для него точностью. Во время каждой нашей встречи, которые в эти недели стали более частыми, чем обычно, он подробно информировал меня обо всем, что уже сдела-

но террористами и что они в ближайшие дни сделать предполагают. Из его рассказов я очень скоро установил, что Боевая Организация располагает каким-то очень хорошим источником информации обо всем, что касается планов передвижения царской семьи. Кто-то из людей, наилучшим образом осведомленных, ставил их в известность обо всех изменениях в планах поездки царя в Ревель. Особенно поразил меня один случай.

Вначале предполагалось, что царь поедет в Ревель на своей яхте „Штандарт". Об этом мне было сообщено как об уже решенном факте, и я соответствующим образом подготовил охрану. Но в одну из наших очередных встреч Азеф меня поразил заявлением, что маршрут изменен и что царь выедет в Ревель по железной дороге. Я отнесся к этому сообщению несколько иронически. Мне казалось совершенно невероятным, чтобы изменение маршрута царской поездки, который всегда держали в глубокой тайне, стало известно террористам раньше, чем мне, руководителю политической полиции. Но Азеф так настаивал на правильности его информации, так уверенно утверждал, что ее источник абсолютно надежен, что в конце концов у меня зародилась некоторая тревога. Помню, в ту же ночь, во время моего очередного доклада, я осведомился у Столыпина, не произошло ли каких-либо перемен в планах относительно поездки в Ревель. Столыпин тоже ничего о таких переменах не знал – и это успокоило меня. Тем более встревожен я был, когда на следующее утро мне в строго доверительном порядке было сообщено дворцовым комендантом, что изменение, о котором говорил Азеф, действительно произошло. После я узнал, что причиной этого изменения было желание государыни, которая плохо себя чувствовала и не хотела подвергать себя риску переезда морем.

При ближайшей же встрече с Азефом я вернулся к этой теме и попросил его сообщить мне имя того лица, от которого шла его информация. От ответа на этот вопрос Азеф уклонился. Он сказал, что сведения постоянно дает какое-то весьма высокопоставленное лицо из министерства путей сообщения, но назвать его имя он не может.

– Вы знаете, – говорил он, – против меня и так много подозрений. Человек, который дает эти сведения, известен всего только 2-3 людям. Он занимает видный пост и стоит вне всяких подозрений. Если его арестуют или если он заметит за собой наблюдение, все непременно заподозрят меня. Я не могу рисковать. Свое обещание я выполню – покушение я расстрою. Но не просите, чтобы я назвал вам этого человека.

Я не считал возможным настаивать: расстройство покушения на царя было действительно самой важной задачей. Но про себя я решил – позднее, когда угроза покушения минует нас, вернуться к этому вопросу.

Азеф сдержал свое слово: поездка Государя в Ревель прошла весьма благополучно. Террористы имели два плана покушений: один – нападение на царский поезд в пути; другой – покушение во время поездки царя в подгороднее имение одного из придворных (кажется, графа Бенкендорфа). Нападение на поезд не могло состояться по той простой причине, что Азеф, получивший от своего информатора условную телеграмму о времени выхода царского поезда, нарочно задержал ее, – и сообщил о телеграмме своим товарищам и Боевой Организации только тогда, когда ехать для нападения было поздно. Что же касается до поездки Государя в имение, то оно было, по моему предложению, вообще отменено.

Ревельские торжества прошли в полном порядке. Государь и государыня прибыли в Ревель 27 мая 1908 года. Торжественно встреченные на вокзале, они поехали в открытой коляске через весь город к гавани. Был ясный, солнечный день. Вдоль улиц шпалерами стояли солдаты, матросы, ученицы и ученики местных учебных заведений. Все в белом и всюду масса цветов. Я, конечно, принял меры предосторожности и бросил в Ревель все имевшиеся в моем распоряжении силы, – хотя и знал от Азефа, что в тот момент в городе нет ни одного из известных ему террористов. В порту, в местном яхт-клубе, Государь принял представителей местного самоуправления и депутации от сословий, после чего царская чета проследовала на „Штандарт". Несколькими часами позднее прибыла английская яхта „Виктория и Альберт" с королевской четой на борту. Ее эскортировала эскадра из 8 судов. Это была торжественная, импозантная картина. Стояла чудесная погода. Ни тучки на небе, ни ветра. Зеркальная гладь залива уходила в бесконечную даль, как бы сливаясь на горизонте с бездонно чистым голубым небом. Затем на горизонте показался наш дежурный миноносец, несший известие о приближении английской эскадры. Вслед за ним показалась и сама эскадра. И крепостная артиллерия, и суда нашей эскадры отдавали положенные салюты. Все мачты украсились русскими и английскими флагами.

Все шло по расписанию, только один анекдотический эпизод вклинился в события этого дня. Когда смолкли пушечные салюты и шедшая впереди английская королевская яхта обменялась приветственными сигналами с „Штандартом", с „Виктории и Альберта" вдруг заговорили флагами. Сигналы были не совсем обычны. Не все даже моряки их понимали. А между тем было ясно, что дело идет о чем-то важном, срочном. Не удивительно, что у нас все насторожились. Повсюду раздавались вопросы:

– В чем дело? Что они сигнализируют?

Напряжение не разрядилось и тогда, когда со „Штандарта" коротко ответили обещанием исполнить просьбу – и тотчас же начали спускать моторный бот, который полным ходом пошел к

„Виктории и Альберту". Тем больше смеха и острот послышалось позднее, когда стало известно, о чем сигнализировала королевская чета: „Пришлите портного на борт."

Оказалось, что Эдуард VII, только подходя к Ревелю, установил, что имевшийся с ним мундир киевского драгунского полка стал ему нестерпимо тесен. А между тем по церемониалу король, шеф этого полка, должен был приехать на „Штандарт" именно в этом мундире. На счастье, на „Штандарте" был придворный портной, который сумел быстро распустить швы мундира, так что Эдуард VII смог его застегнуть. Правда, свою трудную задачу портной решил не идеально, – и когда несколько позднее английский король показался в русском мундире, даже неопытному глазу было заметно, что ему в этом мундире было совсем не по себе. В противоположность своей эскадре, которая так ловко и отчетливо проделывала все маневры, Эдуард VII в тесном мундире и драгунской шапочке выглядел не слишком-то великолепно.

Вечером первого дня меня запросили, не будет ли опасно разрешить местному немецкому певческому обществу исполнить серенаду на воде в честь коронованных гостей Ревеля. Я поглядел на собравшихся членов общества. Это были в большинстве своем солидные люди, многие уже седые. Было ясно, что ждать от них покушения не приходится, – и их просьба была удовлетворена. На всякий случай, впрочем, я отрядил к ним в лодку своих агентов. Вечером на нескольких лодках немецкие певцы подъехали к „Штандарту", на котором в этот момент Государь принимал визит английского короля, и довольно стройно исполнили ряд немецких патриотических песен. Так случилось, что в момент рождения русско-английского соглашения, речи дипломатов произносились под аккомпанимент немецкого пения...

После окончания торжеств я вернулся в Петербург и вплотную занялся мучившим меня вопросом о таинственном лице, которое знает обо всех передвижениях царя и выдает их тайны террористам. Я согласен был оставить на свободе людей, готовых пойти на террористический акт, – если бы имел возможность следить за каждым их шагом и немедленно обезвредить их в тот момент, когда они станут опасными. Лицо, выдававшее революционерам царские секреты, было даже более опасно, чем такие террористы, – и я должен был его знать, должен был во всяком случае иметь возможность парализовать его тайную предательскую деятельность.

Азеф мне не дал относительно него никаких указаний, но возможность расследования все же существовала. Секреты царских передвижений были известны очень немногим. В этом направлении я и вел свои поиски. В начале у меня теплилась надежда, что

слова Азефа о „высокопоставленном сановнике” были просто хвастливой фразой. Я был уверен, что предателем был кто-то из мелких чиновников. Но уже очень скоро мое расследование установило, что секрет изменения царского маршрута в тот момент, когда мне об этом изменении рассказал Азеф, никому из мелких чиновников известен не был, – его знало всего 5-7 человек. Все они действительно были „высокопоставленными сановниками” в полном смысле этого слова, – и все же было ясно, что кто-то из них был предателем самого худшего типа, – человеком, который, оставаясь в тени, помогал террористам готовить убийство того монарха, клятву на верность которому этот человек принес. Одного за другим я перебрал всех этих людей, выяснил их связи и сношения и в конце концов пришел к убеждению, что этим предателем был человек, занимавший в высшей степени высокий пост в министерстве путей сообщения. Мне трудно было верить этому выводу – но доводы были слишком веские и само дело слишком ответственным, чтобы я мог о нем молчать. Я и так сделал для него отступление от своего обычного правила: еще с 1906 года все без исключения серьезные сведения, которые поступали в мое распоряжение, я немедленно сообщал П.А.Столыпину. Об этом деле я доклада своевременно не сделал: я понимал, что это мое сообщение обеспокоит Столыпина в то время, когда его сила особенно нужна для ответственных политических переговоров, – а пользы для моего расследования никакой не принесет. Но теперь, когда данные мною были собраны, я счел себя обязанным со всей откровенностью доложить дело П.А.Столыпину. Как и следовало ожидать, мой доклад произвел на него тяжелое впечатление. Сначала он не хотел верить моим выводам.

– Нет, нет, – твердил он. – Вы ошибаетесь. Я его хорошо знаю. Ведь он принимает участие в заседании совета министров, бывает у меня в гостях... Он не может быть предателем, помощником террористов в подготовке покушения на царя.

И только после того, как я во всех деталях рассказал ему о том, в результате какого расследования я пришел к своему выводу, уверенность Столыпина несколько поколебалась. Но все же никаких шагов предпринимать он не хотел, и попросил меня еще раз самым тщательным образом проверить мои выводы. Я сделал это – и только увеличил собранный мною обвинительный материал. Правда, прямых доказательств у меня не было, но все косвенные улики сходились в указаниях на одно и то же лицо. При моем втором докладе Столыпин уже не оспаривал моих выводов – но принять какие-либо меры колебался.

– Он хуже любого террориста, – говорил он, – и его следовало бы предать суду. Но как это сделать? Вы понимаете, что будут об этом писать газеты всего мира? Лучше подождем, – быть может, после видно будет, – и ограничимся только тем, что от-

страним это лицо от всех дел, связанных с передвижением Государя.

После вскоре пришло разоблачение Азефа, и о предании суду стало невозможно и думать. Пост этот сановник-предатель, конечно, потерял, но разоблачен не был. Не назову его фамилии я и теперь. Его, правда, уже нет в живых – но у него, кажется, есть дети, которые, конечно, ни в какой мере за этот грех своего отца не ответственны. Впрочем, так как официального следствия не было и сам подозреваемый не был допрошен, то и абсолютно верным мой вывод считать нельзя: хоть и очень небольшая, но все же существует доля вероятия, что мой вывод о лице неправилен. Несомненно одно: „высокопоставленный сановник", предававший террористам своего государя, существовал.

Глава 19

РАЗОБЛАЧЕНИЕ АЗЕФА

Ревельское дело было последним, в проведении которого мне помогал Азеф. После моего возвращения в Петербург он заявил, что уезжает за границу и вообще кончает свою работу на полицию.

„Устал и хочу отдохнуть", – отвечал он на все мои уговоры. – „Хочу спокойно пожить своей частной жизнью."

Верный своему обещанию, я не уговаривал его от отъезда за границу, – и только упросил не порывать полностью со мной связи, а хоть изредка информировать меня о наиболее важном из того, что он будет узнавать за границей. Азеф на это согласился. Жалование ему должно было идти полностью и дальше – он получал по 1000 рублей в месяц. Но по существу это должно было быть не вознаграждение за новые услуги в будущем, а своего рода пенсией за сделанное в прошлом...

Из-за границы он писал мне очень редко, и эти редкие письма его не отличались ни содержательностью, ни интересом. Я от него ничего не требовал. И от него, и от других моих агентов я знал, что Азефу приходится очень трудно. Уже давно против него в революционном лагере высказывались подозрения; многие не скрывали, что они не доверяют ему. Азефу удавалось держаться только благодаря своему знанию людей и умению с ними обходиться. И члены Центрального Комитета, и террористы к нему продолжали питать полное доверие. Поэтому я и теперь был уверен, что ему удастся защитить себя, а потому сравнительно мало за него беспокоился. Приходившие от него письма стали к осени 1908 года совсем тревожными; он сообщил, что идет суд между ним и его обвинителем историком В.Л. Бурцевым. Но он и сам до последнего момента не терял надежды, что ему удастся выйти победителем, так как все руководители партии стоят за него горой.

Тем более неожиданно было для меня его появление в ноябре 1908 года на моей секретной петербургской квартире. Он пришел не предупредив, прямо с поезда. Таким я его еще никогда не видел. Осунувшийся, бледный, со следами бессонных ночей на

лице, он был похож на затравленного зверя. Таким он и был в действительности. Революционные охотники, с которыми он так часто вел свою смелую игру, теперь шли по его собственным следам, — и он просил у меня помощи.

Он подробно рассказал мне все, что случилось за полгода его заграничной жизни. Революционный суд, первоначально созванный для того, чтобы заклеймить Бурцева как человека, оклеветавшего революционную честь Азефа, уже готов был вынести решение, полностью реабилитирующее Азефа, когда в самый последний момент Бурцев сослался на какого-то нового, в высшей степени важного свидетеля. Это сразу изменило настроение судей, которые решили проверить ссылку Бурцева. Имя этого свидетеля держали в строжайшей тайне — но Азефу оно стало известным: это был А.А. Лопухин, бывший директор Департамента Полиции, в свое время непосредственно сносившийся с Азефом. Летом 1908 года Лопухин встретился с Бурцевым и рассказал ему все, что он знал об Азефе. Все зависит теперь от того, как поведет себя Лопухин: если он подтвердит свое сообщение, сделанное им Бурцеву, тогда и Азеф погиб. Смертный приговор ему обеспечен. Если же Лопухин откажется подтвердить ссылку на него Бурцева, то дело, хотя и с трудом, но может удастся спасти.

Азеф был совсем подавлен и разбит. Он помнил судьбу Татарова и Гапона — и сейчас готов был на все, согласен был уехать на край света и вести жизнь Робинзона, — лишь бы только спасти жизнь. Сидя в кресле, этот большой, толстый мужчина вдруг расплакался:

— Все кончено, — всхлипывая причитал он. — Мне уже нельзя помочь. Всю жизнь я прожил в вечной опасности, под постоянной угрозой... И вот теперь, когда я сам решил покончить со всей этой проклятой игрой, — теперь меня убьют.

Рассказ Азефа звучал чудовищно невероятно. Я знал Лопухина уже семь лет, раньше в Харькове, потом в Петербурге, знал его как человека, понимающего ответственность своих поступков, и как чиновника, ставящего исполнение долга всегда на первом плане. В течение трех лет Лопухин стоял во главе всего полицейского дела в России, и ему я был обязан своим возвышением и назначением на пост начальника петербургского Охранного отделения. Я знал, что у него были конфликты с Треповым и Рачковским, а затем и со Столыпиным, и я находил, что по отношению к нему правительство поступило нелояльно. Он был единственный директор Департамента Полиции, который после отставки не был назначен сенатором и за которым даже не сохранили оклада. Он был, естественно, огорчен и обижен, и все это делало понятным враждебное направление его мыслей.

Но я не мог себе представить, что эти обстоятельства могли побудить его преступить свой долг и пренебречь сохранением слу-

жебной тайны. Я сказал потом Азефу, что дело это не может обстоять так, как он его излагает, что тут имеет место какое-то недоразумение. Пусть он спокойно отправится к Лопухину и вместе с ним лично урегулирует дело.

У Азефа не было никакой охоты идти к Лопухину. Он питал мало доверия к нему. Прошло немало времени, прежде чем мне удалось уговорить его пойти.

Я ждал с нетерпением результатов этой беседы. Азеф должен был от Лопухина придти ко мне. Он пришел бледный, в еще большем отчаянии, чем прежде.

– Мы совершили очень серьезный промах, – сказал он, – я не должен был туда идти. Лопухин несомненно находится в связи с революционерами, и он передаст им о моем сегодняшнем посещении. Сейчас я окончательно пропал.

Он описал мне чрезвычайно короткое свидание с Лопухиным. Все ограничилось беглым разговором в передней. В комнаты к себе Лопухин его даже не пустил, и говорил с ним куда чем суше. Азеф вынес впечатление, что Лопухин решил безжалостно выдать его революционерам.

Мне и теперь не хотелось поверить в предательство Лопухина. Поэтому я решил сам к нему пойти, и около 5-ти часов вечера я позвонил у двери его квартиры. В темной передней Лопухин встретил меня и сначала не узнал. Тем дружелюбней приветствовал меня потом:

– А, Александр Васильевич, добро пожаловать. С какими вестями? Не с поручением ли от Столыпина? (Он все еще надеялся, что Столыпин сделает попытку сближения с ним).

– Нет, я совсем по частному делу. Я хотел бы с вами поговорить с глазу на глаз.

В кабинете я сказал, что пришел к нему по делу Азефа. Голос Лопухина сразу зазвучал иными нотами:

– Ах, вы хлопочете по поводу этого негодяя... Он был уже сам у меня. Нет, я ничего не могу и не хочу для него сделать.

Как мне ни было трудно, я привел ему целый ряд агрументов, чтобы убедить его в недопустимости его поведения в этом деле. Я старался всячески воздействовать на него. Я напомнил ему, что Азеф ему лично однажды спас жизнь, убедив террористов отказаться от плана покушения на него.

– Это обычная ложь Азефа! – воскликнул Лопухин. – Он врет!

Я апеллировал тогда к его человеческим чувствам.

– У Азефа, – говорил я, – жена и дети. Ему грозит страшная смерть, если вы сообщите разоблачительный материал его обвинителям.

Но Лопухин взволнованно прервал меня:

– Вся жизнь этого человека – сплошные ложь и предатель-

ство. Революционеров Азеф предавал нам, а нас – революционерам. Пора уже положить конец этой преступной двойной игре.

– Он и сам заканчивает эту полосу своей жизни, – возразил я. – Он решил вернуться в частную жизнь. А кроме того, – добавил я со всей внушительностью, – не вам ведь в данном случае приходится решать. Вы знаете о деятельности Азефа за время вашей работы в Департаменте; все, что вам известно, является служебной тайной. Вы не можете раскрыть эти тайны революционерам. Насколько я знаю, революционный суд хочет вызвать вас в качестве свидетеля. Если вы появитесь на таком суде, то тем самым примете на себя бремя вины за убийство Азефа и совершите тяжкое нарушение судебной тайны... Неужели вы хотите принять участие в революционной кровавой расправе?

Мои весьма решительные, хотя по форме не резкие, слова произвели заметное впечатление на Лопухина. Но они воздействовали главным образом на его настроение: он все больше волновался, но по существу не делал уступок. Мне казалось, он чувствовал, что зашел слишком далеко, но уже не мог вернуться назад. Результатом нашей получасовой беседы явилось его заявление:

– Перед революционным судом я не появлюсь. Это абсолютно исключено. Но я вам откровенно скажу: если меня спросят, я скажу правду. Я не привык лгать.

Мы распростились весьма корректно. Но я ушел внутренне возмущенный, с тяжелым сердцем и чувством злобы к Лопухину. Не было сомнений, Лопухин уже решил предать Азефа. Для меня это был двойной удар: это означало не только окончательную потерю для меня Азефа, но также – крах моей веры в порядочность и государственную ценность человека, которого я в течении лет серьезно уважал.

После этой беседы с Лопухиным я вновь увидел Азефа.

– Вы правы, – сказал я ему, – дело скверно. Я ничего не мог достичь. Лопухин хочет выступить против вас. Вы должны быть готовы ко всему. И, к сожалению, я очень мало что могу для вас сделать.

Азеф уже не ждал ничего хорошего. Мне казалось, что он наполовину уже помирился с неизбежной судьбой. Я снадбил его несколькими хорошими фальшивыми паспортами, дабы он мог где-нибудь на белом свете скрыться от своих преследователей. В качестве последнего оклада я выплатил две или три тысячи рублей.

Он обещал осведомлять меня обо всем, что случится, и простился со мной. Это был наш последний разговор. Больше я Азефа не видел.

Через несколько недель мне доложили, что Лопухин готовится к заграничной поездке. Он поехал в Лондон и там, как мне сообщили мои агенты, сопровождавшие его в пути, он имел встре-

чу с членами Центрального Комитета партии социалистов-революционеров Черновым, Аргуновым и Савинковым. Бывший директор Департамента Полиции и личный друг Плеве заседал вместе с террористом Савинковым, организатором убийства Плеве.

Я не сомневаюсь, что на этом свидании он выдал без остатка Азефа революционным судьям. Перед отъездом за границу он отправил Столыпину письмо, представлявшее своего рода протест против моей попытки на него воздействовать. В этом письме он совершенно превратно изобразил мой визит к нему в таких красках, как будто я насильственно к нему вторгся в квартиру и под угрозой добивался от него того, что противоречило всем его понятиям о морали. И он просил в заключение оградить его семью от дальнейших насилий.

В действительности, это письмо должно было явиться для общественного мнения решающим свидетельством против Азефа. Заверенную копию этого письма Лопухин передал в Лондоне социалистам-революционерам, уполномочив их огласить его в печати. Он таким образом не только предал полицейскую деятельность Азефа, но также попытки мои и Азефа в последний момент удержать его от этого акта предательства.

Таким путем судьба Азефа была предрешена. Вскоре после того был опубликован приговор Центрального Комитета о „предателе и провокаторе" Азефе, и вся мировая пресса с упоением живописала воображаемые „ужасы и преступления" русской полиции.

Азефу, благодаря моим паспортам, удалось бежать от революционеров, хотевших его прикончить. После многомесячных странствий по всему свету он поселился в Берлине под именем Александра Неймайера и провел последние годы своей жизни под видом купца.

Лопухину его предательство дорого обошлось. Столыпин доложил царю эту взволновавшую всю Европу историю, рассказал ему, какую помощь оказал Азеф политической полиции, как он расстроил целый ряд покушений, направленных против ближайших советников царя, и раскрыл заговор на жизнь самого царя, а также описал предательскую роль Лопухина. Чрезвычайно возмущенный, царь приказал начать судебное преследование предателя.

Через несколько дней после возвращения Лопухина из-за границы он был арестован на своей квартире. В феврале 1909 года суд приговорил его за нарушение служебной тайны и за участие в деятельности партии социалистов-революционеров к четырем годам каторги. Вторая судебная инстанция смягчила наказание до пожизненной ссылки в Сибирь. В 1913 году, после четырехлетнего пребывания в Сибири, Лопухин по амнистии был возвращен в Петербург.

Глава 20

АЗЕФ – КАКИМ Я ЕГО ЗНАЛ

После того как Центральный Комитет партии социалистов-революционеров опубликовал свой „приговор", разоблачавший Азефа, последний сразу стал одним из наиболее известных людей в мире. Газеты всех пяти частей света посвящали ему обширнейшие статьи, в которых быль была обильно подправлена всякими небылицами. Революционеры, которым деятельность Азефа причинила столько вреда, пытались теперь использовать это разоблачение в своих интересах. Всякое средство им казалось дозволенным, если только оно вело к цели: помогало дискредитировать русское правительство. Если верить им, то выходило, что Азеф был организатором и руководителем всех без исключения террористических покушений, имевших место в России за время с 1902 по 1908 год, – и что все эти покушения делались не только при попустительстве, но часто и с прямого одобрения высших руководителей русской политической полиции. Так, они утверждали, что убийство уфимского губернатора Богдановича Азеф организовал с одобрения тогдашнего министра Плеве, потому что жена Богдановича была любовницей Плеве и последний хотел избавиться от надоевшего мужа. Убийство самого Плеве было организовано Азефом якобы по поручению Рачковского, которого Плеве жестоко обидел. Очень много выдумок распространялось и про меня и о моем сотрудничестве с Азефом. Особенно много усилий в этой области потратил историк В.Л. Бурцев. В течение нескольких лет он издавал за границей специальную газету „Общее Дело", в которой почти из номера в номер печатал статью на тему „Столыпин, Герасимов и Азеф", доказывая, что мы втроем были главными организаторами покушений последних лет. К сожалению, русское правительство в свое время не нашло нужным всем этим утверждениям противопоставить точное расследование деятельности Азефа за все 15 лет его работы для политической полиции. В результате вокруг Азефа сложилось масса легенд, из которых многие в представлении доверчивых читателей держатся еще и до сих пор. Фигура Азефа посте-

пенно выросла в фигуру мелодраматического злодея, равного которому не знал мир... В наши дни я являюсь, кажется, единственным оставшимся в живых деятелем русской политической полиции, который в течении долгого времени стоял в личном общении с Азефом, и быть может лучше, чем кто-либо, знал, насколько мало соответствует действительности подобное изображение Азефа. Ввиду всего этого мне кажется полезным в дополнение к тем фактическим данным, которые я привел в предыдущих главах, дать краткую общую характеристику Азефа, каким он был в действительности. То, что я буду говорить, расходится с шаблонными о нем представлениями. Поэтому я знаю, что мне не удастся переубедить многих из моих читателей. Но я буду удовлетворен, если смогу хотя бы в некоторых из них пробудить скептическое отношение к той легенде, в которую теперь заковали Азефа, и желание самим критически разобраться в имеющемся достоверном материале.

Мои сношения с Азефом ограничиваются двумя последними годами его службы в политической полиции – с мая 1906, когда я его принял от Рачковского, и до июня 1908, когда он уехал за границу. До апреля 1906 я его не знал и о его тогдашней деятельности мне судить очень трудно. Чтобы разобраться в ней, следовало бы по меньшей мере изучить дела о Центральном Комитете партии социалистов-революционеров и об ее Боевой Организации, хранящиеся в архиве Департамента Полиции. Только тогда можно было бы установить всю правду о том периоде деятельности Азефа. Но уже теперь я могу утверждать, что далеко не все обвинения, выдвинутые против Азефа в связи с его деятельностью в 1902-1905 годы, основательны. Как известно, наиболее тяжелым обвинением против него является утверждение, что он организовал и руководил убийством министра Плеве (15 июля 1904). Революционеры-мемуаристы, во главе с Б.В.Савинковым, рассказывают, что Азеф знал имена всех участников готовившегося покушения, знал все их квартиры – и не сообщил их полиции. В ответ на это я могу привести следующий совершенно достоверный факт. Когда в 1908 году против Азефа в революционных кругах особенно настойчиво стали выдвигать обвинения в предательстве, он однажды попросил меня извлечь из архива Департамента Полиции и уничтожить все имеющиеся там документы относительно его службы. Он опасался, что кто-либо из служащих Департамента может выкрасть эти документы и продать их революционерам; после оказалось, что его опасения были вполне основательны, – предателей среди чиновников Департамента Полиции оказалось не мало. Удовлетворить его просьбу было нелегко, но мне удалось ее выполнить. Я просмотрел тогда в Департаменте Полиции целый ряд дел и извлек из них целый ряд документов, компрометирующих Азефа в глазах революционеров. Все эти документы я сжег, – в их числе бы-

ло письмо Азефа, посланное им в начале апреля 1904 года из-за границы лично на имя А.А.Лопухина (тогда он был директором Департамента Полиции) с сообщением, что Центральный Комитет партии социалистов-революционеров поручил Егору Сазонову организовать боевую группу для убийства Плеве и ассигновал на это предприятие 7000 рублей. Были ли Департаментом Полиции получены от Азефа более подробные сведения по этому делу, мне тогда установить не удалось. Но из этого факта несомненно, что нить для поисков Азеф с самого начала руководителям политической полиции дал; его указаний было вполне достаточно, чтобы предупредить убийство Плеве. И уже не вина Азефа, если этим указанием руководители политической полиции воспользоваться не сумели.

Вообще было бы чрезвычайно ошибочно представлять задачу секретного сотрудника так, будто он должен сам собирать все сведения, узнавать все адреса и подносить полиции свои сообщения в готовом виде: идите и арестовывайте. Этим работа политической полиции, конечно, была бы облегчена, — но себя самого сотрудник в два дня погубил бы. Он должен был бы ставить революционерам много вопросов, навлекая тем самым на себя подозрения, которые после первых же арестов превратились бы в уверенность, что они в его лице имеют дело с предателем. Умение беречь агента должно принадлежать к числу главных талантов руководителей политической полиции. Последние должны уметь довольствоваться получением от своих секретных агентов, помимо общей информации, только немногих опорных пунктов, которые позволили бы поставить внешнее наблюдение, — а уж это последнее должно было выяснить всех участников заговора. Именно этого умения не было по-видимому у лиц, руководивших деятельностью Азефа в 1903-05 годах. Позднее Азеф мне на них не раз жаловался, рассказывая, как требовательны они были и как неосторожно обращались с полученными от него сведениями. В целом ряде случаев они своими необдуманными действиями ставили его на самую грань разоблачения, подводя его, — как он говорил, — под пули революционеров. Он не скрывал, что это заставляло его быть сдержанным и сообщать полиции не все имевшиеся у него сведения. И я не могу ставить ему это в вину: секретные сотрудники в положении Азефа постоянно рискуют своей жизнью — это неизбежно, но нельзя же от него требовать, чтобы он не принимал мер предосторожности. Это нужно даже в интересах того дела, которому он служит: он должен быть героем — но не самоубийцей.

Но, повторяю, все это только мои предположения. О деятельности Азефа за время до апреля 1906 года я знаю только понаслышке и авторитетным свидетелем быть не могу. Иначе обстоит дело с двумя последними годами его службы в полиции. В

течение этих лет он работал под моим руководством, и за всю его деятельность этого периода я принимаю на себя полную ответственность. Говорю это я в полном сознании всей серьезности такого заявления.

Против Азефа выдвигаются обвинения двух родов. С одной стороны, его обвиняют в том, что он организовывал и доводил до успешного исхода покушения против видных представителей правительственной власти; с другой – в том, что он занимался провокацией революционеров. Прежде всего остановлюсь на этом последнем обвинении. Словом „провокация" у нас очень злоупотребляют. Каждый секретный сотрудник, который сообщает политической полиции о планах революционеров, по терминологии последних – провокатор. Молоденький киевский студент Р., случайно узнавший о приезде в Киев тогдашней главы Боевой Организации социалистов-революционеров Григория Гершуни и сообщивший об этом начальнику местного Охранного отделения, немедленно был обвинен в провокации. Подобное употребление слова провокация, конечно, совершенно неправильно. И по смыслу самого этого слова, и по законодательству всех стран провокатором является тот, кто сначала подбивает людей на те или иные революционные действия, а затем предает их полиции. Ничего подобного Азеф не делал. Даже из воспоминаний самих социалистов-революционеров видно, что он никого не уговаривал идти в террористические организации. Желающих вступить в такие организации тогда оказывалось больше, чем эти организации могли бы вместить. Особенно много было желающих вступить в Центральную Боевую Организацию, руководителем которой был Азеф, – ему оставалось только делать выбор. Его можно было бы обвинить в том, что он отвечал отказом не всем желающим, а только части. Но хорош был бы руководитель террористической организации, который гонит с ее порога всех без исключения. Он, конечно, навлек бы на себя подозрения и должен был бы уступить свое место кому-нибудь другому. Далее из тех же воспоминаний революционеров мы знаем, что Азеф никогда сам не являлся инициатором покушений. Больше того, многие из них приводят примеры того, как Азеф в Центральном Комитете партии социалистов-революционеров выступал против террора, доказывал его невозможность и т.д. Решения продолжать террористическую борьбу обычно принимались против желания Азефа. Правда, после того как решение было принято, Азеф обычно соглашался руководить подготовкой покушения. Но я лучше чем кто бы то ни было знаю, что он это делал только для того, чтобы расстроить покушение и по возможности не допустить гибели той революционной молодежи, которая входила в состав террористических организаций. Некоторые из революционеров изображают его каким-то злодеем, который был рад посылать людей на виселицу. Я могу удостове-

рить, что всегда, когда он только мог, он просил меня или совсем не арестовывать членов руководимой им организации, или ограничиться в отношении их минимальными наказаниями. Это вполне сходилось и с моей точкой зрения, которая нашла одобрение со стороны П.А.Столыпина. Я не стану, конечно, изображать себя принципиальным противником смертной казни. Я знаю, что в известной обстановке она является необходимой. Если люди выходят на улицу с оружием в руках, то их уже нельзя убедить словами, а можно победить только оружием же. И нельзя в периоды открытой революционной борьбы ограничиваться заключением в тюрьму тех, кто совершал покушение, убивал верных защитников правительства. Государство не только имеет право, но и обязано защищать себя от надвигающихся на него волн анархии. Именно поэтому я признавал смертную казнь неизбежной. Но я никогда не считал ее желательной, – и бывал рад, если мне удавалось повести дело так, чтобы можно было обойтись без применения ее. Таковы были взгляды мои и Азефа, и я смело утверждаю, что, работая под моим руководством, Азеф не только не послал на виселицу многих людей, которые сами себе не готовили этой участи, – а, наоборот, спас многих от этой судьбы. Конечно, из террористов, выданных Азефом, целый ряд был казнен, – назову для примера Зильберберга, Никитенко, Лебединцева, Распутину. Но достаточно ознакомиться с их биографиями, чтобы понять, как нелепо, даже смешно звучит в отношении их утверждение, будто они были „спровоцированы" Азефом. Все они сами вполне сознательно выбирали свой жизненный путь, по своей доброй воле и совершенно осознанно, никем не подстрекаемые, готовили те преступные деяния, за которые были позднее осуждены. Азеф не „провоцировал" их – он только более или менее успешно мешал осуществлению их планов.

Так же несправедливо обвинение, будто Азеф, выдавая полиции одно из готовившихся покушений, позволял революционерам, с ведома правительства, доводить до успешного конца другие: все эти утверждения основаны на рассказах революционеров, которые прежде всего хотели скомпрометировать русское правительство, – а потому валили на голову Азефа быль вместе с небылицами. Конечно, за годы работы Азефа под моим руководством даже в Петербурге было совершено немало успешных террористических покушений, но все они осуществлены группами, к которым Азеф не имел прямого отношения. Надо знать внутренние порядки в террористической организации. Одна и та же организация не может готовить одновременно целый ряд покушений. Поэтому, начиная с 1903 года, в Петербурге было создано несколько боевых групп, действовавших совершенно самостоятельно и имевших особые задачи. Азеф добился того, что весь так называемый „центральный террор", то есть террор против царя, великих князей и министров, был в ис-

ключительном ведении той Боевой Организации, руководителем которой он был. (Только в самом конце, зимой 1907-08 года, право покушений на министров было предоставлено и группе Лебединцева-Распутиной). Право совершения покушений на всех других представителей правительства было предоставлено другим группам, – в первую очередь группе „Карла" (Трауберга). Азеф тогда же мне сказал, что он может нести ответственность за деятельность только центральной Боевой Организации – но не всех мелких террористических групп. Если бы он стал интересоваться работой последних, то он легко навлек бы на себя новые подозрения – и потерял бы возможность приносить ту пользу, которую он приносил, стоя во главе центральной Боевой Организации. Это было вполне правильно, и я не мог с ним не согласиться, а потому заявил ему, что он может совсем не интересоваться этими мелкими группами, не наводить никаких справок и сообщать мне о них только те сведения, которые случайно становятся ему известными. Это свое решение (в свое время я, конечно, сообщил о нем Столыпину) я и сейчас считаю правильным. Правда, этим указанием я ограничил круг деятельности Азефа. При известных усилиях с его стороны он, быть может, мог бы собрать сведения, которые помогли бы мне предупредить такие террористические акты, как убийство генерала Мина, начальника дерябинской тюрьмы Гудимы и др., но за то, – я уверен, – Азеф тогда был бы разоблачен не в конце 1908 года, а годом или двумя раньше, и я, следовательно, остался бы без его помощи во время предприятий, организованных Никитенко, Лебединцевым, во время подготовки большого покушения на царя и пр. А тот, кто прочел предыдущие главы моих воспоминаний, знает, насколько его помощь для меня в этих делах была важна.

Я решительно утверждаю: если бы я не имел в это время своим сотрудником такого человека, как Азеф, занимавшего в партии центральное положение, политической полиции, несмотря на все ее старания, почти наверно не удалось бы так успешно и так систематически расстраивать все предприятия террористов. А трудно себе представить, что случилось бы с Россией, если бы террористам удалось в 1906-07 годах совершить два-три удачных „центральных" террористических акта. Надо знать, какое смятение вносили такие террористические акты в ряды правительства. Все министры – люди, и все они дорожат своей жизнью. Когда они начинали чувствовать себя в опасности, вся работа расстраивалась. Растерянность правительства в 1904-05 годах во многом объяснялась паникой, созданной успешными покушениями на Плеве и великого князя Сергея Александровича. Если бы в дни Первой Государственной Думы был бы убит Столыпин, если бы удалось покушение на Государя, развитие России сорвалось бы гораздо раньше.

Заслуги Азефа в деле борьбы против революционного террора огромны. И мы должны не ставить ему в вину то, что он не все покушения предупредил, а быть благодарны за то, как много террористических актов он все же расстроил. Таково мое глубокое убеждение и поныне.

За два года руководства Азефом я имел возможность близко с ним познакомиться и хорошо понять его. Я не принадлежу к числу людей, доверчивых по своей натуре. Род моей работы в особенности располагал меня к недоверчивому отношению к людям. Первые мои встречи с Азефом тоже далеко не были способны увеличить мое к нему доверие. Скорее наоборот. В особенности история с покушением на Дубасова заставляла меня быть в отношении него постоянно настороже. Но по мере того как я его узнавал, мое недоверие постепенно исчезало. Мне приходилось встречать в печати утверждения, что я, принимая Азефа в свое ведение, знал об его прежней двойной игре и ребром поставил перед ним вопрос: или служи мне верой и правдой или ты пойдешь на виселицу. Эти утверждения совершенно неправильны. Повторяю: я и теперь не знаю, были ли в прежней деятельности Азефа моменты, дающие право обвинять его в двойной игре. Во всяком случае, в то время я никаких подозрений против него не имел и никто таких подозрений в моем присутствии не высказывал, никто даже намеками не давал мне о них понять. Что же касается угрозы виселицей, которую я якобы употребил против Азефа, то я должен сказать, что я сознательно никогда не допускал угроз в моих общениях с секретными сотрудниками. Запугивание – самый плохой путь к вербовке секретных сотрудников. Человек, загнанный в сотрудники угрозами, никогда не будет хорошо работать. Он всегда будет ненавидеть своего полицейского руководителя – и будет готов изменить ему, предать его революционерам. История русской политической полиции знает целый ряд тому примеров. Меньше всего запугивание допустимо в отношении таких сотрудников, которые, подобно Азефу, работали в террористических предприятиях. В таких случаях применение угроз почти всегда приводило к острым конфликтам, очень часто к прямым покушениям.

По всем этим соображениям, я никогда и мысли не допускал о возможности угроз против Азефа. Конечно, после Дубасовского дела я дал ему понять, что я тщательно за ним слежу и проверяю все его сообщения. Несомненно также, что Азеф, как умный человек, должен был легко догадаться, что я не принадлежу к числу людей, которые позволяют водить себя за нос. Но все же главной моей задачей было убедить его в совсем ином: в том, что он вполне может рассчитывать на мою осторожность и осмотрительность. Я старался показать ему, что он может относиться ко мне с полным доверием; что я никогда не сделаю ни одного шага, который может поставить его в рискованное положение; что я по-

нимаю всю сложность и опасность его положения и прилагаю все усилия к тому, чтобы облегчить его работу. Мне кажется, что Азеф очень скоро это понял, и именно это определило наши отношения. Чем ближе я с ним знакомился, тем больше он завоевывал мое доверие и даже дружеское к нему расположение. Я убежден, что и мне он отвечал тем же.

Для удобства моей работы я давно уже не жил на казенной квартире в здании Охранного отделения, а снимал частную квартиру в городе. В 1906-07 годах я жил на Итальянской улице, 15 – где снимал две меблированных комнаты с отдельным входом у вдовы, владелицы прачечного заведения. Своей квартирной хозяйке я назвался коммивояжером, чтобы легче было объяснить свой нерегулярный образ жизни и частые отлучки на один-два дня. Конечно, жил я здесь не под своим именем. Все эти предосторожности были необходимы: нерегулярный образ жизни, обусловленный характером моей работы, привел к тому, что на предыдущей моей конспиративной квартире хозяйка заподозрила меня в чем-то неладном и донесла в уголовную полицию. Последняя установила за моей квартирой наблюдение, которое я, конечно, сейчас же заметил. Мне легко было бы рассеять это недоразумение, достаточно было моего телефонного звонка начальнику уголовной полиции. Но я предпочел не раскрывать своего инкогнито и попросту переменил и квартиру и паспорт. На Итальянской я прописался под именем Левского.

На мою квартиру на Итальянской ежедневно приходил служитель из Охранного отделения, к которому я питал особое доверие. Он убирал комнату, затапливал печку, готовил завтрак и будил меня. Кроме него эту мою квартиру знал только один человек – Азеф. Только этот последний бывал моим гостем. Встречались мы с ним регулярно раза два в неделю в заранее условленные часы и дни. Но он имел право, в особо важных случаях, приходить ко мне и вне очереди – только предупредив меня заранее по телефону. Эти визиты иногда длились часами. Обычно хозяйка ставила нам самовар, и мы, сидя в креслах, вели беседу. Мы говорили на самые разнообразные темы, – не только о том, что непосредственно относилось к деятельности Азефа. Он был наблюдательный человек и хороший знаток людей. Меня каждый раз поражало и богатство его памяти, и умение понимать мотивы поведения самых разнокалиберных людей, и вообще способность быстро ориентироваться в самых сложных и запутанных обстановках. Достаточно было назвать имя какого-либо человека, имевшего отношение к революционному лагерю, чтобы Азеф дал о нем подробную справку. Часто оказывалось, что он знает об интересующем меня лице все: его прошлое и настоящее, его личную жизнь, его планы и намерения, честолюбив ли он, не черезчур ли хвастлив, его отношение к другим людям, друзьям и врагам. В своих рассказах и ха-

рактеристиках он не был зложелателен по отношению к людям. Но видно было, что по-настоящему он мало кого уважает. И к тому же плохие и слабые черты людей он умел замечать легче и лучше, чем их хорошие черты.

Эти разговоры мне всегда много давали. Именно Азеф дал мне настоящее знание революционного подполья, особенно крупных его представителей.

Во время наших бесед касались мы, конечно, и общеполитических вопросов. По своим убеждениям Азеф был очень умеренным человеком – не левее умеренного либерала. Он всегда резко, иногда даже с нескрываемым раздражением, отзывался о насильственных революционных методах действия. В начале я этим его заявлениям не вполне доверял. Но затем убедился, что они отвечают его действительным взглядам. Он был решительным врагом революции и признавал только реформы, да и то проводимые с большой постепенностью. Почти с восхищением он относился к аграрному законодательству Столыпина и нередко говорил, что главное зло России в отсутствии крестьян-собственников.

Меня всегда удивляло, как он, с его взглядами, не только попал в ряды революционеров, но и выдвинулся в их среде на одно из самых руководящих мест. Азеф отделывался от ответа незначащими фразами, вроде того, что „так случилось". Я понял, что он не хочет говорить на эту тему, и не настаивал. Загадка так и осталась для меня неразгаданной.

Глава 21

УСПОКОЕНИЕ СТРАНЫ

Ревельское свидание прошло благополучно. Группа Распутиной-Лебединцева была последней террористической группой, внушавшей мне большую тревогу. Боевая Организация, готовившая покушения на царя, существовала и позднее. Ее члены до самого разоблачения Азефа сидели в Финляндии и строили разные планы. Но все они были у меня под стеклянным колпаком, и беспокойства мне не доставляли. Суд над Азефом и последовавшее затем его разоблачение их окончательно деморализовали. Люди потеряли доверие друг к другу, каждый стал в каждом видеть предателя. В этих условиях им было не до покушений. Террор перестал быть опасен для правительства.

Затихло и общее революционное движение в стране. Помнится, в течение всей зимы 1908-09 года в Петербурге не существовало ни одной тайной типографии, не выходило ни одной нелегальной газеты, не работала ни одна революционная организация. Также обстояло дело почти повсюду в России. После бурных лет 1904-07, наконец, наступило то самое успокоение, о котором мечтал Столыпин, когда говорил в Думе: „сначала успокоение, а потом реформы". Возможность мирной и успешной работы для хозяйственного и культурного подъема страны была создана.

Я решил воспользоваться этими благоприятными обстоятельствами и поехать на отдых. Я имел на него все права. В течение четырех лет, – с момента моего переезда в Петербург, – я не имел ни одного отпускного дня. Эти годы были годами непрерывного напряжения и трепки нервов. Все время приходилось жить как боевому офицеру во время похода. Редко-редко мне удавалось спать больше 4-5 часов в сутки. Часто приходилось спать урывками, не раздеваясь, где-нибудь на диване. И есть приходилось как попало, на ходу. Голова постоянно была полна разных забот и тревог. И все это время надо было работать под постоянной угрозой покушений на мою жизнь. Я не рассказывал о них выше, так как ни тогда, ни теперь не уделял им много внимания. Моя жизнь, конечно, имела мало значения, когда на карте стояли жизни Государя,

Столыпина, министров... Но таких покушений готовилось не мало. Помню, у максималистов был разработан план, который состоял в том, что груженная динамитом повозка должна была въехать во двор Охранного отделения (под видом повозки с арестованными) и здесь быть взорвана. Динамиту было заготовлено так много, что все огромное здание Охранного отделения было бы разрушено и под его развалинами были бы погребены все руководители этого отделения, со мной во главе. В другом случае террористы (отряд „Карла") перетянули на свою сторону одного из мелких служащих моего отделения, который сначала доставлял им сведения о внутренних порядках в нашем учреждении, а затем согласился убить меня в моем служебном кабинете. Обычно мне удавалось заблаговременно узнавать обо всех этих проектах и расстраивать их, не допуская до покушений. Но много опасностей грозило и при случайных встречах. Приходилось быть постоянно на чеку, – а это, конечно, не могло не действовать на нервы.

В результате мой чрезвычайно крепкий организм стал заметно сдавать. Это замечал и Столыпин, а потому не стал возражать, когда я в начале весны 1909 года заговорил о предоставлении мне продолжительного отпуска. Он только хотел, чтобы я отложил этот отпуск на вторую половину лета, дабы было можно возложить не меня охрану царя во время готовившихся тогда торжеств по случаю 200-летия битвы под Полтавой. Мне казалось это излишним: я считал, что страна успокоена и что никакой опасности Государю не грозит. В доказательство правильности этого моего вывода я представил Столыпину нечто вроде итогового обзора положения дел в революционном лагере. После продолжительной беседы Столыпин согласился с этим моим мнением.

Вскоре той же темы Столыпин коснулся во время одного из своих очередных докладов. Шла речь о поездке в Полтаву, и Столыпин сказал:

„Ваше Величество, по мнению генерала Герасимова, Вам во время этой поездки никакой опасности не грозит. Он считает, что революция вообще подавлена и что Вы можете теперь свободно ездить, куда хотите."

Возвращаясь со мной после этого доклада, – это была едва ли не последняя моя поездка вместе со Столыпиным в Царское Село, – Петр Аркадьевич с удивлением и большой горечью рассказывал, как поразил его ответ Государя. Вместо удовлетворения и благодарности, которые Столыпин рассчитывал услышать, в словах Государя прорвалось раздражение.

„Я не понимаю, о какой революции вы говорите. У нас, правда, были беспорядки, но это не революция... Да и беспорядки, я думаю, были бы невозможны, если бы у власти стояли люди более энергичные и смелые. Если бы у меня в те годы было несколько таких людей, как полковник Думбадзе, все пошло бы по-иному."

Полковник Думбадзе был тогда комендантом Ялты, летней резиденции Государя. Он отличался беспощадным преследованием мирных евреев, которых он с нарушением всех законов выселял из Ялты, и разными резкими выходками, только раздражавшими население. Об его методе действий лучше всего дает представление один случай. Как-то раз (кажется, в ту самую зиму 1908-09) на Думбадзе было совершено покушение. Неизвестный стрелял в него на улице и скрылся затем в саду прилегавшего дома, перепрыгнув через забор. Думбадзе вызвал войска, оцепил дом и арестовал всех его обитателей, а затем приказал снести сам дом с лица земли артиллерийским огнем. Приказ был исполнен...

Впечатление от этого распоряжения было огромное. Домовладелец принес жалобу в сенат... Никаких доказательств его причастности к покушению, конечно, не имелось. Террорист успел скрыться и не был пойман. В уничтоженном доме он не жил и очевидно совсем случайно выбрал это место для своего покушения, как мог выбрать и любое другое место у церковной ограды, городского сада и т.д. Все русские газеты были полны подробных рассказов о подвигах ялтинской артиллерии. Много писала об этом происшествии и иностранная пресса, стараясь использовать действие бравого полковника для подрыва авторитета русского правительства. Только органы крайних правых партий были очень довольны поведением Думбадзе и повсюду его рекламировали как одного из тех „сильных" и „смелых" людей, которые не похожи на наше якобы расхлябанное правительство и которые должны теперь быть призваны к власти.

Слова Государя о Думбадзе показывали, что на него эта проповедь правой печати произвела впечатление. Именно поэтому они так болезненно задели П.А. Столыпина. Он долго не мог успокоиться. Почти всю дорогу из Царского Села наш разговор вертелся вокруг этой темы.

„Как скоро он забыл, – говорил Столыпин про Государя, – обо всех пережитых опасностях и о том, как много сделано, чтобы их устранить, чтобы вывести страну из того тяжелого состояния, в котором она находилась."

Не могу сказать, чтобы и на меня эти слова Государя не произвели того же впечатления... Решение уйти в отпуск надолго окрепло. Я хотел иметь возможность хорошо отдохнуть и полечиться. Конечно, при отъезде на столь продолжительное время я не мог сохранить за собой пост начальника Охранного отделения, который был передан другому лицу – полковнику Карпову. Я на этот пост возвращаться и не собирался. В разговорах, которые я имел в это время со Столыпиным, он совершенно определенно намекал, что хочет взять меня на должность своего товарища министра, с возложением руководства всей политической полицией в империи. Он вел этот счет без хозяина...

С революционным движением было покончено. „Успокоение", которого желал Столыпин, было достигнуто, но на пути мирного строительства выросла новая опасность. Она шла на этот раз с другой стороны, из лагеря крайне правых реакционных групп. Чтобы было понятно дальнейшее, я должен вернуться назад – к периоду, когда у нас правые партии только-только начали возникать.

Глава 22

ТЕРРОРИСТЫ СПРАВА

Мне пришлось присутствовать, можно сказать, при самом зарождении крайне правой, монархической организации. Вспоминаю, что еще в октябре 1905 (до издания манифеста 17 октября), в то время, когда повсюду шли демонстрации и стачки, я как-то в разговоре с Рачковским высказал удивление, почему не делаются попытки создать какую-нибудь открытую организацию, которая активно противодействовала бы вредному влиянию революционеров на народные массы. В ответ на это мое замечание Рачковский сообщил мне, что попытки в этом отношении у нас делаются, и обещал познакомить меня с доктором Дубровиным, который взял на себя инициативу создания монархической организации. Действительно, через несколько дней, вскоре после объявления манифеста 17 октября, на квартире Рачковского я встретился с Дубровиным и еще с одним руководителем этой новой организации инженером Тришатным. Доктор Дубровин произвел на меня впечатление очень увлекающегося, не вполне положительного человека, но искреннего монархиста, возмущенного революционной разрухой, желающего все свои силы отдать на борьбу с революционным движением. После мне рассказали, что он имел в качестве врача очень большую практику и хорошо зарабатывал, но забросил ее ради своей деятельности в монархической организации. Однако, все его многоречивые рассуждения свидетельствовали о некоторой неосновательности его. Если поверить его словам, то стоило ему только клич кликнуть, и от революционеров следа не останется. Я по своей должности начальника политической полиции лучше кого бы то ни было знал, что дело обстоит далеко не так просто, и пытался перевести разговор на более конкретные вопросы, – что и как можно делать представителям монархического движения. Особенно рекомендовал я посылать своих ораторов на революционные митинги, где они открыто боролись бы против революционных идей. Дубровин говорил, что это легко сделать и что он, конечно, будет посылать на митинги своих людей. У меня далеко не было уверенности, что это действительно будет сделано. Но

так как идею подобной организации я всемерно приветствовал, то, несмотря на свой некоторый скептицизм, я при расставании высказал основателям ее самые лучшие пожелания. В последующие месяцы я не раз слышал о деятельности этой организации, получившей название Союза Русского Народа, но по обилию работы не мог ни принимать участие в ее деятельности, ни подробно ею интересоваться. Я только уполномочил Михаила Яковлева, одного из подчиненных мне полицейских чиновников, вступить в этот союз и в случае нужды информировать меня обо всем важном, что там происходит.

Расцвет Союза Русского Народа начался в 1906 году после назначения петербургским градоначальником фон-дер-Лауница. Последний с самого начала своего появления в Петербурге вошел в ряды Союза Русского Народа и стал его неизменным покровителем и заступником. Едва ли не по его инициативе, во всяком случае при его активной поддержке, при СРН была создана особая боевая дружина, во главе которой стоял Юскевич-Красковский. Всем членам этой дружины было от Лауница выдано оружие. Так как Лауниц был в известной мере моим официальным начальством, то мне приходилось раз-два в неделю бывать у него с докладом. Обычно я приезжал к нему ночью, около 12 часов, – и почти не бывало случая, чтобы я не заставал в его большой квартире на Гороховой полную переднюю боевиков-дружинников СРН. Моя информация об этих дружинниках была далеко не благоприятная. Среди них было немало людей с уголовным прошлым. Я, конечно, обо всем этом докладывал Лауницу, советуя ему не особенно доверять сведениям, идущим из этого источника. Но Лауниц за всех за них стоял горой.

– Это настоящие русские люди, – говорил он, – связанные с простым народом, хорошо знающие его настроения, думы, желания. Наша беда в том, что мы с ними мало считаемся. А они все знают лучше нас...

Именно этой дружиной СРН было организовано в июле 1906 убийство члена Первой Государственной Думы кадета М.Я. Герценштейна. Он жил в Финляндии недалеко от Петербурга. Во время одной из прогулок его подкараулили дружинники, застрелили и скрылись. Непосредственные исполнители этого террористического акта справа были люди темные, пьяницы. Именно благодаря этому и выплыла наружу вся история. Как мне доложил мой Яковлев, за убийство профессора Герценштейна было получено от Лауница 2000 рублей, которых исполнители между собой не поделили. Начались между ними споры – и все дошло до газет. Охранному отделению, конечно, все это в подробностях было известно, но принять против дружинников какие-нибудь самостоятельные меры я не мог, ибо Лауниц, покрывавший их, был моим начальником. Единственное, что я мог сделать, это доложить обо всем Столыпину. Тот брезгливо поморщился:

– Я скажу, чтобы Лауниц бросил это дело...

Не знаю, сказал ли он это Лауницу. Во всяком случае несомненно, что Лауниц в своей деятельности имел очень сильную поддержку среди очень высокопоставленных придворных.

Более серьезно мне пришлось столкнуться с боевой дружиной СРН и его покровителем Лауницем, когда члены этой дружины стали вторгаться в мою область. Это было, кажется, осенью 1906 года, когда в Охранное отделение ко мне поступило несколько жалоб относительно „пропаж" ценных вещей во время обысков. Я приказал произвести расследование. Мне дали справку о том, что таких обысков чины Охранного отделения вообще не производили. При дальнейшем расследовании выяснилось, что Лауниц выдавал членам боевой дружины СРН удостоверения на право производства обысков. Опираясь на это удостоверение, дружинники являлись в участки, брали с собой чинов наружной полиции и вместе с ними производили те обыски, какие находили нужными. Подобные действия, естественно, меня возмутили, так как они компрометировали полицию в глазах населения, – тем более, что при таких именно обысках и происходили „пропажи" ценных вещей. Я подробно доложил об этом Столыпину, который всецело разделил мое возмущение и вызвал для объяснения Лауница. Во время этого объяснения я повторил ту характеристику боевой дружины СРН, которую я раньше давал в беседах с Лауницем, и настаивал на категорическом запрещении ей вторгаться в компетенцию полиции. Лауниц энергично защищал дружину и особенно расхваливал Юскевича-Красковского. „Если Красковский сказал, – говорил он, – то значит это правда. Он хорошо знает..." Но заступничество Лауница не помогло. Столыпин решительно запретил СРН вмешиваться в действия полиции.

– Если у Красковского, – заявил он, – имеются какие-нибудь интересные сведения, пусть он сообщит их полковнику Герасимову... Самочинных же действий быть не должно.

Это объяснение сильно задело самолюбие Лауница, который в это время уже метил весьма высоко и, почти не скрываясь, критиковал действия Столыпина, находя его чересчур „либеральным". Вначале Лауниц пытался и меня завербовать в свой лагерь. Он знал меня по Харькову еще совсем молодым офицером – и на основании этого старого знакомства несколько раз заводил со мной разговоры на тему о том, куда же Столыпин ведет Россию. Поняв из моих ответов, что во мне он не найдет союзника против Столыпина, Лауниц стал относиться ко мне с недоверием и раздражением. Как мне передавали, в СРН начали разговры о том, что Лауниц хочет меня сместить и на мое место назначить Юскевича-Красковского.

Последний был весьма неумным человеком и к тому же очень падким на деньги. Лауниц тем не менее верил ему и постоянно да-

вал себя обманывать. Помню, одно время Лауниц стал носиться с планом обезвредить революционеров... скупив все имеющееся у них оружие. Устроить это дело ему обещал Красковский, – лишь бы деньги. С представлением об ассигновке некоторых сумм на эту цель Лауниц обратился к Столыпину. Запрошенный Столыпиным, я отозвался очень резко об этом... неумном плане. Тем не менее Лауниц откуда-то добыл денег и вскоре с большим апломбом заявил о своем огромном успехе: ему удалось купить у революционеров пулемет, заплатив за него 2000 рублей. Столыпин просил меня расследовать этот случай. Удалось выяснить, что пулемет был выкраден из ораниенбаумской стрелковой офицерской школы, – очевидно теми самыми людьми, которые продали его Лауницу. Я доложил об этом Столыпину, который много смеялся.

Постепенно эти столкновения выросли до настоящей борьбы между Охранным отделением и Лауницем. Последний мне не доверял и даже распорядился не охранять его чинами Охранного отделения: „Меня охраняют мои русские люди", – заявил он. Именно это его доверие к охране дружинников из СРН заставило его не послушаться моего предостережения в роковой для него день...

В феврале 1907 года мне пришлось столкнуться с новым террористическим актом правых, а именно – с покушением на Витте. Общеизвестно, что вся печать СРН с первых дней вела ожесточенную травлю графа Витте, видя в нем главного виновника всех несчастий, постигнувших Россию. Его называли „жидомасоном", говорили, что он мечтает стать президентом будущей республики, и чуть не требовали предания его суду. Не ограничиваясь угрозами, дружинники СРН делали попытки организовать покушения на жизнь Витте, к счастью неудачные.

Первая попытка была в феврале 1907 года. Мне дали знать по телефону о том, что в доме бывшего Председателя Совета министров графа С.Ю. Витте найдена адская машина. Я немедленно поехал на место и застал уже там полицию, судебного следователя и прочих. Оказалось, что через дымовую трубу в крыше в камин, находящийся в столовой графа Витте, был спущен мешок, в котором было приблизительно два фунта охотничьего пороха, часовой механизм от старого будильника с плохо приделанными капсулями. Не бомба, а детская игрушка. К тому же, механизм часов был испорчен, почему взрыв и вообще не мог произойти. Для меня достаточно было беглого взгляда на эту „адскую машину", чтобы понять, что это не дело рук революционеров. Так грубо и неумело повести дело могли только дружинники СРН. По понятным причинам, высказать это открыто я не мог. А потому, когда Витте, присутствовавший при осмотре, спросил меня: кто, по моему мнению, мог быть автором этого покушения? – я ответил ему: не знаю, – правда, прибавив: – во всяком случае, это не революционеры...

Вечером я сделал доклад Столыпину, не скрыв от него, что все это является грубой проделкой СРН. Столыпин был возмущен:

– Это настоящее безобразие, говорил он. – Эти люди совершенно не понимают, в какое трудное положение они ставят меня, все правительство. Пора принимать против них решительные меры.

Но уже очень скоро выяснилось, что о решительных мерах не может быть и речи. При дворе к покушению отнеслись совсем по иному, многие влиятельные люди там злорадствовали. Да и общее отношение к Союзу Русского Народа там становилось все более положительным. Дворцовый комендант Дедюлин, назначенный на это место после смерти Трепова как человек не политический, питал большую симпатию к СРН. Именно через его посредничество устраивались аудиенции у Государя доктору Дубровину и другим деятелям СРН. Активную поддержку последнему оказывали и многие крайне правые сановники, из числа находившихся в оппозиции к Столыпину. Все они с лучшей стороны аттестовали эту организацию перед царем. В этих условиях расследование о покушениях правых на графа Витте, производимое судбными властями, велось с таким расчетом, чтобы никаких нитей найти нельзя было. А печать СРН после этого покушения писала, что Витте сам на себя устроил это покушение, чтобы таким путем обратить на себя внимание.

Выяснению дела не помогло даже убийство Казанцева, агента московского Охранного отделения. Его труп был найден в июне 1907 на одной из окраин Петербурга. Имевшиеся при нем документы устанавливали его личность, а также его несомненную причастность к подготовке нового покушения на Витте. Он привез из Москвы динамит, которым должна была быть заряжена бомба, предназначавшаяся для Витте. В записной книжке Казанцева имелись адреса конспиративных квартир московского Охранного отделения. Не было сомнений, что и динамит получен оттуда же и что все предприятие организовано с ведома начальника этого отделения, полковника Климовича. Все эти данные были мною собраны и препровождены в Департамент Полиции, где они и были похоронены. После смерти Лауница московское Охранное отделение стало центром боевых предприятий СРН вообще. В Москве был убит член Второй Государственной Думы Иоллос. Но агенты Москвы раскидывали свою деятельность не только на Петербург и Москву, но и на провинцию. Так, помню, мне пришлось установить, что ими было организовано и убийство депутата Караева в Екатеринославе.

Надо сказать, что в Москве вообще царили особые нравы. Характерен в этом отношении запомнившийся мне эпизод, связанный с покушением на Курлова. Однажды, зимой 1905-06 года, агент московского Охранного отделения, известная впоследствии

Жученко, сообщила своему начальству, что ей поручено революционной организацией доставить бомбу в Минск для покушения на минского губернатора Курлова, и просила дать указания, как ей быть. Начальник отделения полковник Климович и его помощник фон-Коттен решили, что бомбу она должна отвезти по назначению, но в таком виде, чтобы она не могла взорваться. Фон-Коттен, бывший артиллерист, сам вынул детонатор из бомбы, после чего Жученко отвезла ее в Минск. Неудивительно, что брошенная бомба не взорвалась, хотя попала Курлову, кажется, в голову. Бросивший бомбу революционер был схвачен и повешен. Все эти подробности я слышал впоследствии лично от фон-Коттена. Я указал ему на недопустимость таких действий со стороны Охранного отделения, но он в ответ только засмеялся...

Смерть Лауница, может быть, замедлила конфликт между Столыпиным и крайними правыми, который постепенно нарастал, – но во всяком случае она его не приостановила. Особенно обострились отношения в период Второй Государственной Думы. В то время как Столыпин, распуская антигосударственную Вторую Думу, стремился создать на ее месте такую Думу, которая поддержала бы его в работе по преобразованию страны, – Союз Русского Народа под руководством Дубровина стремился вообще к полному уничтожению всяких представительных учреждений в России. Для того чтобы противодействовать Столыпину и добиться своей максимальной цели, Дубровиным, между прочим, была организована особая депутация к царю во главе с известным впоследствии иеромонахом Илиодором. В эту депутацию входило 10-12 человек, жителей Царицына и прилегающих к нему местностей с Волги. Прибыв в Петербург, они заявились ко мне с рекомендацией от Дубровина. Имя Илиодора мне было знакомо. О нем очень хорошо отзывался Лауниц, считавший его талантливым, патриотическим агитатором. Поэтому я с большим интересом познакомился с ним лично. Он произвел на меня впечатление фанатика, почти нервнобольного человека: худой, кожа да кости, с небольшой реденькой черной бородкой, с блестящими глазами, горячей речью. В разговоре он все время сбивался на тон оратора, пересыпая свою речь цитатами из Священного Писания. Он несомненно должен был импонировать нервным людям, но на спокойного и рассудительного человека он не мог произвести большого впечатления. Меня он старался убедить в том, что игра с Государственной Думой опасна, что ее надо уничтожить и твердо держаться старого догмата о божественном происхождении царской власти, ни в чем не отступая от этого принципа. Даже сам царь, говорил он, не имеет права изменить этот основной закон. Уходя, он должен сдать свое царство таким, каким его получил при вступлении на трон. Именно для этого и приехал Илиодор в Петербург, чтобы добиться аудиенции у царя и убедить его отклонить все новшества и вернуться к поло-

жению, существовавшему до 1905 года. Государственную Думу Илиодор ненавидел с бешеной злобой и совершенно серьезно говорил о том, что нужно бросить бомбу в левую часть Государственной Думы.

Если в общем Илиодор произвел на меня отрицательное впечатление, то от спутников его я вынес впечатление прямо отталкивающее. Все они, земляки Илиодора, принадлежали буквально, я не преувеличиваю, к оборванцам. Некультурные, малограмотные люди. Так как в столице им негде было жить, а Дубровин просил меня их приютить, я отвел для них несколько свободных камер при Охранном отделении и за счет отделения кормил их. Помню, мне было жалко отпустить им рацион в размере, обычно отпускаемом арестованным: для последних брали обед в ресторане по 1 рублю на человека; для членов этой делегации я ассигновал по 30 копеек на харчи.

Обо всем этом я, конечно, доложил Столыпину, сделав вывод, что эту депутацию ни в коем случае нельзя близко подпускать к царскому дворцу. Столыпин вполне согласился со мной и заявил, что этих людей надо просто услать из столицы. Я взялся устроить это мирным способом. Делегации дали прожить несколько дней в Петербурге. Я приставил к ним одного из моих политических надзирателей, который водил их в Петеропавловскую крепость, показывал разные церкви и прочее. Потом дней через пять выдали им деньги на дорогу и препроводили на вокзал. Депутаты были даже благодарны и просили провожавшего их надзирателя особо благодарить меня за прием. Илиодора в их числе не было. Он ко мне больше не являлся. Я слышал, что он поселился у архимандрита Феофана, тогда ректора петербургской Духовной академии.

Эта депутация была началом большой кампании, которую пытался развернуть СРН в пользу изменения основных законов и уничтожения Государственной Думы. В период между Второй и Третьей Государственной Думой, когда измененный избирательный закон дал возможность государственно настроенным элементам бороться против засилия левых, мне пришлось много раз встречаться с Дубровиным и вести с ним разговоры на политические темы. Помню, однажды он заявил мне, что если бы СРН принял участие в выборах в Первую и Вторую Государственные Думы, то состав Думы был бы однороден, так как все члены Государственной Думы принадлежали бы к СРН. Но СРН участвовать в выборах не может, так как считает Государственную Думу противозаконным учреждением. Как верный монархист, говорил Дубровин, я не имею права своим участием санкционировать существование этого сборища, посягающего на неограниченные права монарха. Между прочим, в заключение этой нашей беседы я высказал предположение, недалекое от истины, — что СРН, по всей вероятности, не прини-

мает участия в выборах потому, что у Союза нет лозунгов, могущих привлечь к себе население, и отсутствуют интеллигентные силы, необходимые для ведения предвыборной агитации.

В процессе этих разговоров мои отношения с Дубровиным несколько улучшились, – правда, очень не надолго. Причиной нашего окончательного разрыва был следующий эпизод. СРН существовал на деньги, получаемые от правительства и официальными, и неофициальными путями. В 1906-07 годах много денег отпустил Союзу Столыпин, кажется, через товарища министра внутренних дел Крыжановского. Летом 1907 года, когда отношения между Столыпиным и СРН начали портиться, в выдачах произошла заминка. Тогда Дубровин обратился ко мне с просьбой о посредничестве. Я ему прямо сказал, что я хотел бы ему помочь, но не знаю, как я могу это сделать, когда газета Дубровина „Русское Знамя", не стесняясь, ведет резкую кампанию против Столыпина? Дубровин начал уверять меня, что все это одно недоразумение. Все объясняется отсутствием у него времени. Если бы он это знал, он читал бы все статьи и никогда бы их не пропустил. Я поставил прямым условием моего заступничества обещание Дубровина прекратить нападки на Столыпина. Дубровин такое обещание дал, поклявшись перед иконой. Мой разговор со Столыпиным на эту тему не принадлежал к числу особенно приятных. Он не хотел давать денег и говорил, что плохо верит в клятву Дубровина. В конце концов он уступил и распорядился о выдаче 25 тысяч рублей. Деньги были выданы, а буквально на следующий день я прочел в „Русском Знамени" одну из наиболее резких статей, направленную против Столыпина, какие когда-либо в этой газете появлялись. Я немедленно вызвал Дубровина и осыпал его упреками. „В какое положение вы меня ставите? Ведь вы же перед иконой клялись", – напал я на него. У Дубровина был очень сконфуженный вид. Глаза у него бегали, и на икону, на которую я все время указывал, он смотреть упорно избегал. А по существу он повторил опять старые оговорки о том, что он статьи не читал, что напечатана она без его ведома и прочее. Я сказал ему пару неприятных фраз, и с тех пор он уже у меня не был.

Столыпин после введения избирательного закона 3 июня был в чрезвычайно активном и бодром настроении. Наконец-то, говорил он, будет созвана работоспособная Государственная Дума и обеспечено в ней правительственное большинство. Такую Государственную Думу следует всемерно укреплять. В сущности, Столыпин и в период первых двух Дум никогда не переставал подчеркивать, – и это простить ему не могли сторонники СРН, – что он не против представительных учреждений вообще, а только против данного несбалансированного состава Думы. Он являлся решительным противником всяких, обильно возникавших тогда планов о полном уничтожении правительственных учреждений в России. Мне

приходилось не раз в беседах с ним выслушивать его мнение, что для России институт Государственной Думы очень нужен и что русские порядки во многом необходимо перестроить на новый лад. Когда начала функционировать Третья Государственная Дума, Столыпин искренне стремился работать вместе с нею и старался поддерживать хорошие личные отношения с лидерами думских фракций. Большинство в новой Государственной Думе принадлежало к партии Союза 17 октября. Левый фланг Государственной Думы, куда входили социал-демократы и трудовики, был незначителен. Партия конституционалистов-демократов устами своего лидера П.Н. Милюкова пыталась в общем отмежеваться от всякой связи с революционными и социалистическими течениями. Одним словом, в Думе складывалось большинство консервативное, благожелательное планам Столыпина. Из руководящих представителей думского большинства Столыпин особенно высоко ценил председателя союза 17 октября А.И. Гучкова, который бывал у него по два раза в неделю. СРН по вышеизложенным соображениям не принял участия в выборах и продолжал по-прежнему свою кампанию против Столыпина и против Государственной Думы, которую Столыпин защищал.

В центре государственных задач того времени стояла аграрная проблема, которую Столыпин хотел решить путем наделения крестьян землею при посредстве Крестьянского Земельного Банка и превращения их таким образом в мелких собственников. Аграрная программа Столыпина, получившая выражение в законе 9 ноября 1906 года, вызвала весьма различное и часто враждебное отношение к себе в разных кругах общества. Прежде всего пришлось преодолевать сопротивление великокняжеских кругов, высказавшихся против отчуждения кабинетских и удельных земель. Государь поддерживал в этом вопросе Столыпина и лично говорил в его пользу со всеми великими князьями. Упорнее других сопротивлялся великий князь Владимир Александрович, не сдававшийся на убеждения царя. По указанию царя, Столыпин лично повидал великого князя и доказал ему, насколько проектируемая аграрная реформа необходима. Великий князь с доводами Столыпина в конце концов согласился.

До издания закона Столыпин стремился выяснить и отношение к нему думских и внедумских групп. По собранным тогда сведениям, революционные партии видели в столыпинской реформе явную угрозу развитию революционного движения среди крестьянства. Социалисты-революционеры, например, считали, что разрушение крестьянской общины и разрешение свободного выхода из нее означает потерю основного базиса для социалистической пропаганды в деревне. Превращение крестьян в собственников укрепит существующий государственный строй и ослабит шансы революции. Кадетская партия имела свой собственный проект аргарной реформы, допускавший принудительное отчуждение, хотя и по справед-

ливой оценке, частновладельческих и государственных земель в пользу крестьян, – и также высказывалась против проекта Столыпина. Тогда принудительное отчуждение земель, и в форме, предлагаемой партией к-д, казалось с государственной точки зрения абсолютно неприемлемым, как нарушение принципа собственности.

По иным соображениям высказался Союз Русского Народа против аграрного проекта Столыпина. Дубровин видел в крестьянской общине один из самых надежных устоев самодержавного строя. Проведение столыпинских проектов выгодно, мол, только жидомасонам, стремящимся поколебать самодержавный строй.

В результате всей этой разноголосицы, царившей в русском обществе, аграрный закон Столыпина, хотя и прошел в Государственной Думе, но начавшаяся против него слева и справа агитация сделала свое дело, затормозила его проведение в жизнь и умалила его благотворное значение. Достаточно сказать, что к 1917 году не более 30% крестьян оказались собственниками, остальные же не пожелали выйти из общин, и тем создалась благоприятная почва для революции.

Я упоминал уже о той кампании, которую систематически вели против Столыпина как деятели СРН, так и близкие к этой организации отдельные сановники и придворные. Имея довольно свободный доступ к Государю, они пользовались аудиенциями, чтобы подвергать критике политику Столыпина и вызвать недоверие к его начинаниям. Они указывали Государю, что популярность Столыпина растет в ущерб популярности самого Государя. Охваченные завистью к крупной государственной роли, которую уже к концу Второй Государственной Думы начал, по общему признанию, играть Столыпин, они не останавливались перед тем, чтобы умалить его заслуги в прошлом и извратить события даже совсем недавнего времени. Так, с одной стороны, уверяли Государя, что никакого революционного движения в России и не было, и что поэтому Столыпин никакой революции не подавлял и не мог подавлять. Напротив, небольшие революционные вспышки, бывшие в стране, объяснялись только недопустимой слабостью власти. Но, с другой стороны, Государю говорили, что Столыпин проявляет и до сих пор крайне опасный либерализм, что Третья Государственная Дума, которую он так отстаивает, представляет собой чисто-революционное учреждение и что Россия стоит накануне новой революции, которая грозит все смести.

Чтобы убедить царя в необходимости уничтожить Думу, Дубровин организовал целый поход СРН против Столыпина. В самом начале Третьей Государственной Думы все провинциальные отделения СРН, по указанию Дубровина, начали посылать царю верноподданнические телеграммы с просьбой об уничтожении Государственной Думы. Об этих телеграммах я узнал от Столыпина, возвращаясь с ним как-то из Царского Села. По-видимому, Столыпину

пришлось выдержать нелегкую борьбу, потому что он был взволнован и не скрыл своего раздражения, говоря о СРН и его телеграммах. Я предложил ему произвести в провинции проверку этих телеграмм и их отправителей. Столыпину идея эта понравилась, и я немедленно отправил телеграфный запрос во все жандармские и Охранные отделения с просьбой дать точную справку об организациях СРН вообще, и специально о тех лицах, которые подписали указанные телеграммы. Ответы были получены больше, чем из 100 пунктов. В большинстве они были прямо убийственны для СРН. Состав отделов и подотделов СРН обычно не превышал 10-20 человек. Руководителями же были часто люди опороченные, проворовавшиеся чиновники или исправники, выгнанные за взятки со службы; некоторые до настоящего времени стояли под судом и следствием. На основании полученных телеграмм я составил справку и передал ее Столыпину. Он был рад получить такой материал – и не замедлил представить его царю. На царя собранные сведения, по-видимому, произвели впечатление, во всяком случае на некоторое время.

Третья Государственная Дума, между прочим, по предложению Столыпина, вынесла постановление, осуждающее политический террор. По этому поводу говорили, что такое постановление, вынесенное Столыпинской Думой, не пользующейся доверием народа, не имеет никакого значения. Очевидно, что те, кто так говорил, не знали или не поняли, что тут речь идет также о террористах справа, находивших себе прибежище в монархической организации Союза Русского Народа.

Глава 23

ТЕМНЫЕ СИЛЫ

Особенно опасным для судеб России это крайне реакционное движение стало тогда, когда ему на помощь пришли так называемые „темные силы". Иными путями, нежели пути революционеров, новому врагу русской государственности удалось пробраться к самому подножью царского трона и из этого пункта взорвать все основы существовавшего в России порядка. Опасность, которую таили в себе эти силы, я видел с самого начала – но в борьбе против них я мог участие принять только в самом начале: я пал одной из первых жертв этого нового врага, не менее страшного, чем революционеры.

Как известно, Государь Николай II отличался сильной склонностью к мистицизму. Ее он унаследовал от своих предков. В начале его царствования многие питали надежды на то, что под влиянием своей жены – образованной женщины, одно время даже, кажется, слушавшей лекции в Оксфорде, – царь излечится от излишнего мистицизма. Жизнь не оправдала этих надежд. Не царь под влиянием недавней оксфордской студентки повернул от мистицизма к трезвому реализму – а, наоборот, царица под его влиянием вдарилась в такой мистицизм, равного которому мы не найдем в биографиях членов нашего царственного дома. Не оказали благотворного влияния на нее и события эпохи 1904-06 годов. Наоборот, вместо того чтобы заставить его серьезно заняться вопросами необходимого переустройства русской государственной жизни, тревоги, пережитые во время революции, только еще дальше толкнули ее в область мистических настроений. Надо сказать, события этих лет вообще вызвали сильный рост мистических увлечений в высших классах общества. В петербургских салонах, игравших в придворных кругах такую заметную роль и наложивших свою роковую печать на общие судьбы России, наперебой занимались спиритизмом, вертели столы, вызывали духов и т.д. Ко мне самому не раз поступали предложения обратиться к посредничеству различных медиумов, которые якобы способны были помочь мне в деле обнаружения революционеров. Конечно, все такие предложения

я отклонял и не скрывал, что своим секретным сотрудникам я верю больше, чем всем медиумам мира вместе взятым. Между прочим, мои насмешки над этими спиритическими забавами и были одной из причин отрицательного отношения ко мне лиц, игравших роль в подобных салонах. Я это знал, но относился к этому совершенно безразлично, считая, что они ничем повредить мне не могут. Это было верно, но только до поры до времени, – пока во мне нуждались.

Среди таких салонов особенно значительную роль играли салоны великих княжен Анастасии и Милицы – дочерей князя Николая Черногорского, вышедших в Петербурге замуж за великих князей Николая и Петра Николаевичей. Их салоны всегда были полны разных странников, знахарей, монахов, юродивых и пр. Среди них не мало попадалось людей темных и подозрительных, которых не пустил бы на порог своего дома всякий мало-мальски культурный человек. В салоне же „княгинь-черногорок" они были желанными гостями... А отсюда прямая дорога вела в царский дворец: и Милица, и особенно Анастасия в те годы были очень дружны с государыней Александрой Федоровной.

Именно этим путем пробрался в царский дворец и Григорий Распутин, сыгравший такую роковую роль в жизни моей родины.

Это имя я впервые услыхал в конце 1908 года от дворцового коменданта генерала Дедюлина. Во время одной из наших встреч он задал мне вопрос, слышал ли я что-либо о некоем Григории Распутине? Это имя было мне совершенно незнакомо, и я поинтересовался узнать, почему им озабочен Дедюлин. Тогда Дедюлин рассказал мне, что человек, носящий это имя, за несколько дней перед тем был представлен государыне Александре Федоровне. Встреча их состоялась на квартире фрейлины Вырубовой, доверенного друга царицы. Распутин выдает себя за „старца", интересующегося религиозными вопросами, но по своим годам далеко еще не может быть отнесен к числу стариков. Дедюлину он показался подозрительным. Никаких сведений об его прошлом он узнать не мог, и допускал, что в лице Распутина он имеет дело с революционером, быть может даже скрытым террористом, который таким путем пытается подойти поближе к царскому дворцу. Так как у Вырубовой бывал и царь, который мог там встретиться с Распутиным, то Дедюлин просил меня с особой тщательностью навести о последнем все справки.

Я занялся этим делом. С одной стороны, я поручил своим агентам поставить наблюдение за Распутиным; с другой стороны, я навел справки в Сибири на его родине относительно его прошлого. С обеих сторон я получил самые неблагоприятные о нем сведения. Из Сибири прибыл доклад, из которого было видно, что Распутин за безнравственный образ жизни, за вовлечение в разврат девушек и женщин, за кражи и за всякие другие преступления не

раз отбывал разные наказания и в конце концов вынужден был бежать из родной деревни. Мои агенты, следившие за Распутиным, подтвердили эти сведения о плохой его нравственности; по их сообщениям, Распутин в Петербурге вел развратный образ жизни. Они не раз регистрировали, что он брал уличных женщин с Невского и проводил с ними ночи в подозрительных притонах. Опросили и некоторых из этих женщин. Они дали о своем ,,госте'' весьма нелестные отзывы, рисуя его грязным и грубым развратником. Было ясно, что это человек, которого нельзя и на пушечный выстрел подпускать к царскому дворцу.

Когда я доложил Столыпину полученные мною сведения, я к глубочайшему изумлению узнал, что председатель совета министров не имеет никакого представления даже о существовании Распутина. Чрезвычайно взволнованный, он сказал мне в эту нашу первую беседу о Распутине, что пребывание такого рода темных субъектов при дворе может привести к самым тяжелым последствиям. ,,Жизнь царской семьи, – говорил он, – должна быть чиста, как хрусталь. Если в народном сознании на царскую семью падет тяжелая тень, то весь моральный авторитет самодержца погибнет – и тогда может произойти самое плохое.'' Столыпин заявил, что он немедленно переговорит с царем и положит решительный конец этой истории.

Это свое намерение П.А. Столыпин осуществил во время ближайшего доклада царю. Об этом докладе у меня сохранились отчетливые воспоминания. Столыпин – это было необычно для него – волновался всю дорогу, когда мы ехали в Царское Село. С большим волнением и нескрываемой горечью он передал мне на обратном пути подробности из своей беседы с царем. Он понимал, насколько щекотливой темы он касался, и чувствовал, что легко может навлечь на себя гнев Государя. Но не считал себя вправе не коснуться этого вопроса. После очередного доклада об общегосударственных делах, рассказывал Столыпин, он с большим колебанием поставил вопрос:

– Знакомо ли Вашему Величеству имя Григория Распутина?

Царь заметно насторожился, но затем спокойно ответил:

– Да. Государыня рассказала мне, что она несколько раз встречала его у Вырубовой. Это, по ее словам, очень интересный человек; странник, много ходивший по святым местам, хорошо знающий священное писание, и вообще человек святой жизни.

– А Ваше Величество его не видали? – спросил Столыпин.

Царь сухо ответил:

– Нет.

– Простите, Ваше Величество, – возразил Столыпин, – но мне доложено иное.

– Кто же доложил это иное? – спросил царь.

– Генерал Герасимов, – ответил Столыпин.

Столыпин здесь немного покривил душой. Я ничего не знал о встречах Государя с Распутиным и поэтому ничего об этом не говорил Столыпину. Но последний, как он мне объяснил, уловивши некоторые колебания и неуверенность в голосе царя, понял, что царь несомненно встречался с Распутиным и сам, а потому решил ссылкой на меня вырвать у царя правдивый ответ.

Его уловка действительно подействовала. Царь, после некоторых колебаний, потупившись и с как бы извиняющейся усмешкой, сказал:

– Ну, если генерал Герасимов так доложил, то я не буду оспаривать. Действительно, государыня уговорила меня встретиться с Распутиным, и я видел его два раза... Но почему, собственно, это вас интересует? Ведь это мое личное дело, ничего общее с политикой не имеющее. Разве мы, я и моя жена, не можем иметь своих личных знакомых? Разве мы не можем встречаться со всеми, кто нас интересует?

Столыпин, тронутый беспомощностью царя, представил ему свои соображения о том, что повелитель России не может даже и в личной жизни делать то, что ему вздумается. Он возвышается над всей страной, и весь народ смотрит на него. Ничто нечистое не должно соприкасаться с его особой. А встречи с Распутиным именно являются соприкосновением с таким нечистым, – и Столыпин со всей откровенностью сообщил царю все те данные, которые я собрал о Распутине. Этот рассказ произвел на царя большое впечатление. Он несколько раз переспрашивал Столыпина, точно ли проверены сообщаемые им подробности. Наконец, убедившись из этих данных, что Распутин, действительно, представляет собой неподходящее для него общество, царь обещал, что он с этим „святым человеком" больше встречаться не будет.

На обратном пути из Царского Села Столыпин, хотя и был взволнован, но казался облегченным, имея уже позади эту мучительную задачу. Он считал, что с Распутиным покончено. Я не был в этом так уверен. Прежде всего, мне в этом деле не нравилось, что царь дал слово лишь за себя, а не за царицу также. Но кроме того я знал, что царь легко попадает под влияние своего окружения, к которому я относился без большого доверия. Характер моей деятельности неизбежно заставлял меня быть недоверчивым...

Поэтому я не только не прекратил наблюдение за Распутиным, а, наоборот, предписал даже усилить его. Ближайшие же дни подтвердили правильность моих опасений. Мои агенты сообщали, что Распутин не только не прекратил своих визитов к Вырубовой, но даже особенно зачастил с поездками туда. Были установлены и случаи его встреч там с государыней.

Чтобы положить конец этому положению, становящемуся положительно нестерпимым, я предложил Столыпину выслать Распу-

тина в административном порядке в Сибирь. По старым законам, Столыпину как министру внутренних дел единолично принадлежало право бесконтрольной высылки в Сибирь лиц, отличающихся безнравственным образом жизни. Этим законом давно уже не пользовались, но формально отменен он не был, и возможность воспользоваться им существовала полная. После некоторых колебаний, вызванных опасением огласки, Столыпин дал свое согласие, но поставил обязательным условием: чтобы Распутин был арестован не в Царском Селе, – дабы в случае, если это дело все же получит огласку, его никак нельзя было поставить в связь с царской семьей.

Я принял все возможные меры для того, чтобы сохранить в тайне принятое решение. Помню, я даже своей рукой написал текст постановления о высылке Распутина. Столыпин поставил свою подпись. И тем не менее привести наш план в исполнение не удалось. Не знаю, то ли о нем проведал кто-либо из высокопоставленных покровителей Распутина; то ли последний чутьем догадался, что над ним собирается гроза, но моим агентам все не удавалось увидеть его в такой обстановке, в которой можно было бы произвести арест, не привлекая к нему внимания. На своей квартире он вообще перестал появляться, ночуя у различных своих высокопоставленных покровителей. Один раз агентам удалось проследить его визит к Вырубовой. Они протелефонировали мне – и я отдал приказ арестовать его немедленно по возвращении в Петербург. Я был уверен, что на этот раз я обязательно буду иметь Распутина, – но отряженные для ареста мои агенты явились без него. По их рассказу, Распутин, очевидно, догадался о предстоящем аресте, а потому по приезде в Петербург выскочил из вагона еще до полной остановки поезда и, подобрав полы своей длинной шубы, бегом пустился к выходу, где его ждал автомобиль. Агенты хотели задержать последний, но увидели, что это автомобиль великого князя Петра Николаевича, мужа великой княгини ,,черногорки" Милицы Николаевны. Арест человека в великокняжеском автомобиле, вызвал бы, конечно, много шума, и мои агенты на этот шаг не решились. Они только проследили этот автомобиль – до ворот великокняжеского дворца.

Вся эта история меня раздражала. Столыпин каждый раз спрашивал, в каком положении дело, и мне приходилось сознаваться, что я ничего еще не успел. Поэтому я отдал приказ моим агентам день и ночь вести караулы у всех выходов из дворца – и как только покажется Распутин, обязательно арестовать его, хотя бы с риском огласки. Несколько недель дежурили мои агенты, но Распутин не появлялся. Он сидел в великокняжеском дворце, войти куда я конечно не мог: если бы даже я решил не останавливаться перед оглаской, то и тогда разрешить обыск в великокняжеском дворце мог только сам царь.

Так продолжалось несколько недель, пока я не получил те-

леграммы с родины Распутина о том, что последний прибыл туда. Мои агенты не заметили, как он выбрался из дворца. Им это нельзя ставить в вину. Они совершенно откровенно говорили: из дворца нередко выезжали закрытые экипажи и автомобили. Нередко сквозь окно в них была видна фигура великого князя и княгини. Как было узнать, что в глубине сидит еще и Распутин. Останавливать и контролировать все выезжающие экипажи? Это дало бы делу такую огласку, за которую меня Столыпин совсем не поблагодарил бы...

Полученное сведение о прибытии Распутина на родину я сообщил Столыпину. Он был рад, что дело обошлось без ареста.

— Это самый мирный исход, — говорил он. — Дело обошлось без шума, — а вновь сюда Распутин не покажется. Не посмеет. — И в заключение уничтожил свое постановление о высылке Распутина.

Я был иного мнения. Я был уверен, что после официальной высылки Распутина, когда он будет, так сказать, проштампован в качестве развратника, — ему будет закрыта дорога и в царский дворец и в Петербург вообще. Но я далеко не был уверен, что Распутин действительно „не посмеет" вернуться в Петербург теперь, когда отъезд его официально трактуется в качестве добровольного.

События оправдали мои опасения. У себя на родине Распутин прожил только несколько месяцев. Он грустил по жизни в Петербурге и жаждал власти, сладость которой он уже вкусил. Он только выждал, пока будут устранены препятствия для его возвращения. Среди таких препятствий Распутин и его сторонники на первом месте ставили меня: история относительно готовившейся высылки стала довольно широко известна, и против меня начался систематический поход.

Глава 24

ЗАГОВОР ПРОТИВ МЕНЯ

Подробности этого похода мне стали известны только много позднее, уже после революции. Многие детали его настолько невероятны, что в правильность их я поверил только после того, как сам, своими глазами, прочел тайные документы официальной переписки. Для этого похода было использовано сильно в свое время нашумевшее дело Петрова, — социалиста-революционера, который стал сотрудником политической полиции, а затем взорвал на воздух своего полицейского руководителя, моего преемника на посту начальника петербургского Охранного отделения, полковника Карпова. Сущность этого дела сводится к следующему:

Александр Петров был молодым сельским учителем, кажется в Казанской губернии, когда началось революционное движение 1905 года. Он примкнул к социалистам-революционерам, вошел в террористическую группу и стал работать в динамитной лаборатории. Во время случайного взрыва он получил тяжелое ранение и попал в руки полиции. Друзья организовали ему побег, на руках вынесли из тюремной больницы и увезли за границу. Там он долго лечился, вынужден был ампутировать ногу, но все эти мытарства не ослабили его революционного энтузиазма. Осенью 1908 года, вместе с группой других социалистов-революционеров, во главе которой стоял Осип Минор, он отправился в Саратов. Эта группа носилась с планами создания сильных боевых дружин среди крестьян приволжских губерний. Предполагалось устроить фабрику бомб и развить так называемый аграрный террор, то есть убийство помещиков, поджоги их усадеб и т.д. Конечной целью было устройство крестьянского восстания на Волге. Состав и планы этой группы были мне известны: обо всем этом мне сообщил Азеф в одном из своих последних докладов, присланных уже из-за границы. Вскоре же после приезда в Саратов члены группы были взяты под наблюдение и затем, после выяснения ее состава, арестованы. В числе арестованных был и Петров, который занимался организацией динамитной лаборатории. Он ясно сознавал, что ему грозит тяжелое наказание, — самое меньшее многолетняя каторга, особенно тяже-

лая для больного, одноногого человека. Я не берусь судить, это или какое-либо другое обстоятельство явилось решающим. Во всяком случае в начале 1909 года Петров обратился к начальнику Саратовского жандармского управления с предложением стать секретным сотрудником. Саратовские власти не взяли на себя решение вопроса: Петров был привлечен по серьезному делу и освобождение его из тюрьмы было ответственным шагом; к тому же он занимал слишком крупное положение в партии, чтобы мог в будущем остаться на положении провинциального секретного сотрудника. Его все равно пришлось бы передать в центр. Поэтому начальник Саратовского губернского жандармского управления о предложении Петрова сообщил в Департамент Полиции. Директор последнего вызвал меня для совещания. После разоблачения Азефа мы были сильно озабочены вопросом об усилении нашей разбитой этим разоблачением центральной агентуры по партии социалистов-революционеров, и предложение Петрова приходило нам как нельзя более кстати. Его роль в партии и размеры его связей нам были известны. А потому не могло быть сомнений в том, что при умелой помощи с нашей стороны из него мог выработаться исключительно ценный секретный сотрудник. В этом смысле я и высказал свое мнение директору Департамента Полиции, но, конечно, оговорил, что предварительно необходимо удостовериться в искренности намерений Петрова. Последнего решено было вытребовать в Петербург. Ведение с ним переговоров директор Департамента поручил мне.

Петров был доставлен в Петербург под конвоем и помещен при Охранном отделении. Ему отвели хорошую комнату, хорошо кормили. Я прежде всего предложил ему написать подробную автобиографию с перечислением всех революционных дел, в которых он принимал участие. Петров это сделал. Я поручил проверить по делам Охранного отделения и Департамента Полиции все указания, приведенные им в этой автобиографии. Среди них было немало сообщений, до того времени нам не известных, хотя и не было ничего, что мы могли бы использовать для нужд текущего розыска. Во всех тех частях, которые поддавались проверке, рассказ Петрова подтвердился полностью. Было несомненно, что он говорит правду. Только после этого я начал вести с ним личные разговоры. В этих разговорах он произвел на меня впечатление человека, несколько надломленного всем пережитым, быть может вообще неуравновешенного, — но безусловно искреннего. Особенно мне было интересно узнать, что именно заставило его внутренне порвать с революционным движением. И на этот вопрос он ответил мне очень подробно и правдиво. Он говорил, что будучи сельским учителем и работая затем в казанской боевой дружине, он сильно идеализировал революционеров и смотрел на них как на совсем особых людей, которым чужды все слабости и пороки. За гра-

ницей он убедился, что это далеко не соответствует действительности. Здесь он узнал, что революционеры такие же люди, как и все прочие, а многие из них и прямо нехорошие люди, авантюристы, развратники. Особенно тяжелое впечатление на него произвел Савинков, о котором он всегда отзывался с большой резкостью. С Савинковым у Петрова, оказывается, было и личное столкновение, так как Савинков не то отбил у Петрова невесту, не то грубо ее оскорбил. Разочаровавшись за границей в революционерах как людях, Петров, по возвращении в Россию, потерял веру и в революционное движение. Здесь он, по его словам, убедился, что революционное движение не приносит пользу стране; что борьба революционеров против аграрной реформы Столыпина мешает росту крестьянского благосостояния и т. д. Еще до ареста мелькала у него мысль уйти из революционного лагеря. В тюрьме решение это созрело и оформилось, и он хочет не только уйти от революционеров, но и активно мешать их работе, расстраивать их планы, препятствовать им привлекать в свои ряды молодежь. Особенно привлекала его работа секретного сотрудника по Боевой Организации, так как там он мог бы свести и свои личные счеты с Савинковым.

Все эти рассказы мне показались убедительными, и потому я высказался за прием Петрова на службу. Директор Департамента согласился с моим мнением и сделал соответствующее официальное представление Столыпину. Последний, после беседы со мной, дал свое официальное согласие.

Серьезным препятствием был вопрос об освобождении Петрова. Это освобождение надо было провести так, чтобы в революционных кругах не возникло против него никакого подозрения. Сам Петров сначала предлагал ограничиться в отношении большей части арестованных по одному с ним делу административной высылкой в Сибирь, откуда он легко мог бы бежать. Этот проект я категорически отклонил: дело уже шло в порядке подготовки судебного процесса, да и не было смысла освобождать таких серьезных и опасных революционеров, как Осип Минор, который одно время входил даже в состав Центрального Комитета партии социалистов-революционеров и принимал участие в разработке террористических актов. Тогда Петров выдвинул план организации ему фиктивного побега из тюрьмы. Этот план состоял в следующем: после возвращения в саратовскую тюрьму Петров должен начать симулировать сумасшествие; при осторожной помощи политической полиции тюремные врачи, среди которых имелись люди, сочувствовавшие революционерам, легко дадут согласие на перевод Петрова на испытание в психиатрическую больницу; бежать оттуда было детским делом.

Этот план я одобрил, конечно испросив на проведение его в жизнь согласия Департамента Полиции и Столыпина. Впоследствии устройство побега Петрова было одним из тех дел, которое мне

особенно ставила в вину чрезвычайная следственная комиссия Временного Правительства 1917 года. Несомненно формальное нарушение закона нами тогда было сделано. Но это небольшое нарушение закона давно уже стало своего рода традицией для политической полиции. Впервые оно было совершено в 1882 году, когда Плеве, тогдашний директор Департамента Полиции, организовал фиктивный побег из Одесской тюрьмы Дегаева, с помощью которого затем была разгромлена партия „Народной Воли". Неоднократно это нарушение закона политическая полиция совершала и позднее. Такие фиктивные побеги иногда бывали необходимыми: если человек соглашался стать секретным сотрудником в период своего нахождения в тюрьме, то часто побеги являлись единственной возможностью вернуть его в революционные ряды, не вызвав против него подозрений.

На расходы по побегу Петров попросил 150 рублей, которые я ему и вручил. Помню, он при мне спрятал их в свою искусственную ногу, похвастався, как ловко он устроил себе в ней маленький тайник. В этом была доля наивного хвастовства, очень характерного для Петрова, но меня эта черточка еще более укрепила в правильности моей оценки Петрова, как несколько легкомысленного, но искреннего человека.

Отказав Петрову в освобождении всех лиц, арестованных по одному с ним делу, я не смог отказать ему в просьбе об освобождении одного из членов этой группы, а именно Бартольда. Пребывание последнего на свободе было действительно чрезвычайно важно для успешности работы Петрова в качестве сотрудника. Бартольд, очень богатый человек, имел исключительно обширные связи в кругах социалистов-революционеров. Он и давал деньги на партийные нужды, и щедро раздавал их взаймы видным партийным работникам лично. Многие смотрели на него, как на несерьезного человека, – таким, по-видимому, он и был в действительности. Но ему все доверяли, его дружбы все искали. Петров был очень близок с ним. Именно Бартольд организовал в 1906 году побег Петрова из Казанской тюрьмы. С помощью Бартольда Петрову и в дальнейшем было легче всего закрепить свое положение на партийных верхах.

На осуществление этого плана ушло несколько месяцев. За это время я был назначен генералом для поручений при министре внутренних дел и по новой моей должности не имел никакого отношения к политическому розыску, а следовательно и к делу приобретения секретных агентов. Формально я вообще уже числился в отпуску. Но когда Петров, благополучно бежавший из Саратовской психиатрической больницы, прибыл в Петербург, то Департамент Полиции просил меня довести до конца начатые мною с Петровым переговоры. Я имел с ним несколько конспиративных свиданий. Он был значительно более нервен, чем в свой первый при-

езд. Очевидно, игра в сумасшедшего ему далась нелегко. Хотя ему было обеспечено содействие руководителей местной политической полиции, но тюремную администрацию в игру посвящать было невозможно, и с ее стороны Петрову пришлось во время своего „сумасшествия" не мало претерпеть. Было ясно, что ему нужно дать время, чтобы отдохнуть и подлечиться, а это всего лучше было сделать, уехав за границу. Поездка туда рекомендовалась и интересами розыска. Петербург в это время, как я уже писал, был совершенно очищен от революционеров. Все партийные вожди перебрались за границу, главным образом в Париж. Поэтому именно там должен был быть и агент, задачей которого было освещение партийных центров. Я дал Петрову подробные инструкции насчет того, как он должен себя там вести. Я предупредил его, что в Париже он непременно попадет в поле зрения Бурцева, который будет допрашивать его о побеге и возможно установит за ним наблюдение своих агентов. Поэтому в своих сношениях с Департаментом он должен соблюдать крайнюю осторожность. Мы условились, что вслед за ним в Париж поедет особый жандармский офицер, подполковник Долгов, с которым Петров будет поддерживать связь и который будет оказывать ему нужную помощь. При расставании я передал Петрову 1500 рублей денег и браунинг, а также адерс, по которому он мог мне писать.

В разговорах с вице-директором Департамента Полиции Виссарионовым я настойчиво советовал не медлить с посылкой Долгова. Из Петрова обещал выработаться ценнейший сотрудник, но его нужно было беречь. Особенно пугали меня его порывистость и нервность, которые могли повести к его провалу. Виссарионов дал мне самые торжественные заверения, что он последует моим указаниям, и я уехал на отдых, на кавказские воды, будучи убежден, что завербовал сотрудника, который скоро сможет хотя бы частично заменить Азефа. Тем больше было мое разочарование, когда, вернувшись в конце лета с Кавказа, я прочел ожидавшие меня два письма Петрова из Парижа. В первом из них он упрекал меня в обмане и предательстве его революционерам, на том основании, что подполковник Долгов не приехал вслед за ним в Париж, как было обещано. Содержание второго письма было таково, что у меня возникло подозрение, что оно написано под диктовку революционеров: так неискренне и фальшиво оно звучало.

Я немедленно же отправился к директору Департамента Полиции Нилу П. Зуеву, показал ему эти письма и откровенно высказал свои сомнения. Было отдано распоряжение о немедленном выезде в Париж Долгова, с которым я также имел продолжительную беседу. С Долговым же я послал Петрову письмо, в котором сообщал, что больше не имею отношения к делу розыска и поэтому прошу мне не писать, а сноситься с моим преемником на по-

сту начальника петербургского Охранного отделения полковником Карповым.

Написать это последнее письмо меня побудили перемены, происшедшие в мое отсутствие из Петербурга. Высокопоставленные друзья Распутина, недовольные репрессиями против него со стороны политической полиции, приложили все усилия к тому, чтобы поставить во главе последней своего человека. Они правильно понимали, что только распоряжение аппаратом полиции даст ключ к действительной власти. Подходящим кандидатом на пост высшего руководителя политической полиции в этих сферах сочли Курлова – в прошлом того самого минского губернатора, покушение на которого с разряженной бомбой допустил Климович. Он в это время был видным деятелем крайних правых организаций, и делал себе в высших кругах карьеру тем, что обличал „мягкость" и „либерализм" правительства Столыпина. Последний некоторое время противился назначению Курлова, но должен был уступить, после того как государыня во время одной из аудиенций сказала ему:

– Только тогда, когда во главе политической полиции станет Курлов, я перестану бояться за жизнь Государя.

Уклониться от назначения Курлова после этого стало невозможно – и поэтому я, вернувшись из четырехмесячного отпуска, нашел его на том посту товарища министра внутренних дел, который был почти обещан мне. Конечно, после назначения Курлова стало невозможно и думать о высылке Распутина, – а потому последний уже летом 1909 года снова появился в Петербурге. Теперь уже не делали секрета из его сношений с дворцом. Помню, в первые же дни моего возвращения в Петербург я сделал визит к дворцовому коменданту Дедюлину. Я его не застал, но виделся с его женой. Она только что вернулась домой с молебна, отслуженного в часовне, и рассказывала, что там молились государыня и Распутин, и что по окончании молебна государыня, на глазах всех присутствовавших, поцеловала руку Распутина... Дедюлина, муж которой еще так недавно просил меня установить за Распутиным полицейскую слежку, рассказывала об этом случае как о чем-то обычном. Для меня этот маленький эпизод лучше чем что-либо другое говорил о совершившихся за время моего отсутствия колоссальных переменах. Революционный террор больше не грозил Государю и его советникам, но надвигалась другая еще горшая опасность, которой они не замечали. А я должен был только в бессилии наблюдать со стороны, как пройдоха-мужик в короткое время сделал то, что в течении десятков лет не удавалось сделать многим тысячам революционеров-интеллигентов: подорвать устои царской империи, готовить ее крушение...

Вполне естественно, что Курлов, встав во главе всего полицейского дела в Империи, совершенно отстранил меня от вся-

кого участия в деле розыска. С этого времени не имел я сведений и о Петрове, хотя судьба последнего меня живо интересовала. Узнавать о нем стороной, от своих старых знакомых, я считал ниже своего достоинства. Попытка же получить сведения непосредственно от Курлова окончилась неудачей. На мой вопрос он ответил какой-то незначащей фразой, произнесенной к тому же с такой неохотой, что мне стало ясно его нежелание посвящать меня в дальнейшие детали этого дела.

В конце декабря 1909 года ко мне зашел один из чиновников Охранного отделения Добровольский и передал письмо Петрова, который просил о свидании со мной. При создавшихся моих отношениях с Курловым я не мог ответить иначе как отказом. Письмо Петрова я передал полковнику Карпову и просил его сообщить Петрову, что видеться с ним не могу, так как не имею отношения к политическому розыску. В этом же разговоре я, пользуясь случаем, спросил Карпова, надолго ли приехал Петров в Петербург и как он себя вообще чувствует. Карпов мне ответил, что Петров в Петербурге уже больше двух недель и что его поведение Карпову кажется несколько странным и непонятным. После некоторого колебания Карпов добавил, что он давно уже хотел поговорить об этом деле со мной, но получил от вице-директора Департамента Полиции Виссарионова категорический приказ этой темы в разговоре со мной не затрагивать. Конечно, на этом наша беседа оборвалась.

Прошло не больше двух недель — и 18 декабря того же 1909 года я узнал о взрыве на Астраханской улице квартиры Петрова. Полковник Карпов был убит. Петров был задержан и предан суду. Газеты были переполнены сенсационными сообщениями о секретном сотруднике-террористе, который убил своего начальника. В Государственную Думу было внесено несколько запросов. П.А. Столыпин в ответе торжественно обещал, что будет произведено исчерпывающее расследование всего и что результаты его будут опубликованы. Но суд состоялся при закрытых дверях, отчеты о заседаниях не были опубликованы, и загадка Астраханской улицы так и осталась неразгаданной после того, как Петров взошел на эшафот. Я знаю только то, что проникло в печать: почти немедленно после взрыва я получил предписание экстренно отправиться в Иркутск для расследования какого-то столкновения между местными начальниками жандармского управления и охранного отделения. Если у меня и были сомнения о фиктивности этой командировки, то они исчезли после того, как я ознакомился с существом иркутского дела: оно не стоило и выеденного яйца.

Было ясно, что вся командировка только предлог для того, чтобы удалить меня из Петербурга во время следствия по делу Петрова. Меня очевидно ставили с ним в какую-то связь, но в какую — я не мог понять.

Вскоре после этого за границей были опубликованы записки А. Петрова. Написанные в стиле дешевых уголовных романов, они были полны самых грубых выдумок. Стремясь защитить себя перед революционерами, Петров яркими красками расписывал свои вымышленные подвиги. Меня он рисовал каким-то злым искусителем. Из этих „записок" мне стала ясна трагедия, пережитая Петровым за границей. Взятый под наблюдение бурцевскими детективами, запуганный позором разоблачения и не имеющий поддержки со стороны Департамента, он решил покаяться перед Бурцевым, причем изобразил дело так, будто все его сношения с полицией были игрой, затеянной для того, чтобы разоблачить секреты политической полиции и убить меня, как наиболее опасного (с его точки зрения) представителя последней. Для меня было ясно, что это объяснение не соответствовало действительности. Если Петров хотел меня убить, то он легко и без всякой для себя опасности имел возможность это сделать во время своего второго приезда в Петербург. Наши свидания происходили наедине, в конспиративной квартире, в которой никого кроме нас двух не было. Во время последнего свидания я сам дал ему браунинг и патроны. Ему ничего не стоило убить меня и скрыться затем через Финляндию с полученными от меня деньгами и паспортом. Если Петров этого не сделал, то, конечно, потому, что цели его переговоров со мной были совершенно иными. Но революционеры всего этого не знали, а потому поверили рассказам Петрова. Центральный Комитет партии социалистов-революционеров, до сведения которых Бурцев довел покаянную исповедь Петрова, признал поведение последнего преступлением по отношению к партии, но готов был амнистировать его, если он осуществит свой замысел и убьет меня. Петрову не оставалось выбора, и он согласился. Для точного выполнения постановления Центрального Комитета Петров был подчинен надзору двух своих друзей-террористов (после я узнал, что это был Бартольд, освобождения которого из саратовской тюрьмы Петров добился, и еще один, некто Луканов). Савинков снабдил их динамитом, и они втроем в ноябре 1909 года отправились в Петербург.

Весь этот рассказ Петрова был очень интересен, но и он не пояснял, что именно могли ставить мне в вину в связи со взрывом на Астраханской улице. Эту тайну мне раскрыли только в 1917 документы расследования, произведенного чрезвычайной следственной комиссией Временного Правительства. Не знаю, сохранились ли они. Будет жаль, если погибли: они так необычны, что я сам едва бы поверил в возможность того, о чем они говорили, если бы не держал в руках оригиналов этих документов.

Оказалось, что Петров, прибыв в Петербург во второй половине ноября 1909 года, вошел в сношения с Департаментом Полиции и сообщил о каких-то фантастических замыслах террористов, якобы готовящих грандиозное покушение. Для руководства Пет-

ровым был назначен полковник Карпов. Это не удовлетворяло Петрова и его друзей, которые имели задачей убить именно меня. Поэтому Петров стал добиваться свидания со мной. Департамент Полиции ему в этом категорически отказал — не потому, конечно, что он оберегал мою жизнь, а из нежелания приблизить меня к делу розыска. Потеряв надежду получить свидание со мною, Петров, по соглашению со своими друзьями Бартольдом и Лукановым, решил устроить ловушку. С этой целью он рассказал Карпову, что официального свидания со мной он добивается только для вида, что в действительности тайные сношения со мной он все время поддерживает и что я во время тайных встреч уговариваю его убить генерала Курлова, занять пост которого я хотел бы. По словам Петрова я обещал ему и безнаказанность и крупную сумму денег, но он не хочет принять мое предложение и, опасаясь мести с моей стороны, просит у Департамента Полиции защиты. Карпов, конечно, немедленно сообщил Курлову об этом разоблачении Петрова. Как это ни невероятно, но и Курлов, и Карпов, и привлеченный ими для совещания Виссарионов придали веру заявлению Петрова и согласились на его предложение устроить для меня ловушку. Предполагалось завлечь меня на свидание с Петровым, который должен был меня вызвать на откровенный разговор, в то время как в соседней комнате Курлов, Карпов и Виссарионов будут подслушивать нашу беседу.

Для этой ловушки и была снята квартира на Астраханской улице. Полковник Карпов в эти дни почти не расставался с Петровым. Вместе они снимали квартиру, вместе покупали мебель, вместе проводили ночи в кутежах, Петров несколько раз ночевал на квартире у Карпова и почти каждый день у него обедал. Это были отношения добрых друзей-приятелей, а не секретного агента с руководителем политического розыска. О какой бы то ни было конспирации не было и помину.

Бартольд и Луканов, конечно, были в курсе всех этих приготовлений. Когда квартира была снята и омеблирована, Петров со своими друзьями занялись в ней устройством некоторых приспособлений, в секрет которых Карпов, естественно, не был посвящен. В гостиной к круглому столу перед диваном был прикреплен мешок с динамитом. Электрические провода соединяли последний с передней. Петрову достаточно было, выйдя туда, соединить эти провода, чтобы последовал взрыв, который уничтожил бы и тех, кто сидел за столом, и тех, кто подслушивал в соседней комнате. Сам же Петров легко мог скрыться.

Все было готово и уже был назначен день, когда Курлов, Виссарионов и Карпов должны были прийти на квартиру, чтобы подслушивать мою беседу с Петровым. Все испортила не в меру большая дружба Карпова с Петровым. 19 декабря, едва ль не накануне условленной встречи, Карпов неожиданно заявился с визитом

к Петрову. Он привез с собой кулек закусок и вин и предложил отпраздновать „новоселье". Опешившему Петрову приходилось делать хорошую мину при плохой игре и садиться пировать за тот стол, под которым уже лежала вполне готовая для взрыва мина. Празднество должно было уже начаться, когда Карпов заметил, что скатерть, покрывавшая стол, не отличалась особой свежестью.

– Какая у вас тут грязная скатерть, – заявил он, – ее надо сменить. – И начал было снимать ее со стола.

Это был конец. Если бы скатерть была снята, то Карпов, как ни доверчив он был, не мог бы не заметить электрических проводов, висевших под столом. Поэтому Петров, со словами „не надо, не надо, я сейчас сам все сделаю", закостылял в переднюю и там соединил провода. Последовал взрыв, жертвой которого пал Карпов.

Для расследования этого дела Курловым была назначена особая секретная комиссия, в состав которой вошли вице-директор Департамента Полиции Виссарионов, заведующий особым отделом Департамента полковник Климович и помощник последнего полковник Еремин. Все они были ставленниками Курлова, все обязаны последнему своей карьерой. Это комиссия допросила Петрова. Последний и в тюрьме продолжал настаивать, что все это было им сделано по моим уговорам. С его стороны эти показания были попыткой иными средствами довести до конца тот террористический акт против меня, который он задумал. Не удалось ему убить меня физически, он хотел своим обвинением убить меня морально. В этом не было ничего особенного. Невероятно было то, что комиссия Департамента Полиции, состоявшая из казалось бы опытных в полицейском деле людей, придала веру этому оговору, несмотря на ряд имевшихся в нем противоречий и несообразностей. Были опрошены филеры, наблюдавшие в эти дни за мной и за Петровым; была опрошена прислуга ресторана, в которых, по оговору Петрова, происходили наши с ним свидания. Был допрошен и Добровольский, который по обязанностям службы сносился с Петровым и передал мне его записку. В 1917 году этот Добровольский показал, что его тогда допрашивали с угрозами, требуя признания факта моих встреч с Петровым. Никаких подтверждений оговора Петрова найдено не было, да и сам Петров в своем последнем слове на суде, когда увидел, что оговор его не имеет успеха, взял его обратно, признав, что приехал из-за границы с целью убить меня, а не кого-либо другого, и даже выразил соболезнование вдове убитого Карпова. Несмотря на все это, комиссия составила доклад о предании меня военному суду.

Этот доклад был передан на рассмотрение особого совещания под председательством Курлова. В состав совещания вошли, помимо членов комиссии, еще директор Департамента Полиции Зуев и прокурор судебной палаты Корсак. Протокол этого совещания я читал. Первым на этом совещании высказался Зуев, который за-

явил, что он не верит Петрову и не может допустить мысли, что жандармский генерал с 20-летним беспорочным стажем был способен на те действия, в которых меня обвиняет Петров. Полностью к мнению Зуева присоединился и Корсак. За предание меня суду горячо говорил Климович, доказывая, что не дело совещания разбирать вопрос по существу. Это суд должен выяснить, говорил он, верны или ложны обвинения Петрова. Поскольку они имеются, Герасимов должен быть поставлен перед судом. Виссарионов, Еремин и Курлов поддержали эту точку зрения. Журнал совещания с изложенными в нем мнениями большинства и меньшинства был представлен на утверждение Столыпина. Последний распорядился не давать делу дальнейшего хода.

Но само собой разумеется, мне это дело нанесло тяжелый удар. Он был тем более тяжел, что я совершенно о нем не знал и не имел никакой возможности ни защититься, ни оправдаться. Я догадывался, что против меня выдвинуто какое-то обвинение, но и не подозревал, какое именно. Тем более верно Курлов и стоявшие за ним друзья-покровители Распутина достигли своей цели. Каждому новому министру внутренних дел, при вступлении его в должность, сообщалось секретное дело обо мне. Тем самым для меня был закрыт навсегда путь к возврату на активную службу. Курлов и его ставленники стали безраздельными хозяевами во всем деле политического розыска. Они несут и безраздельную ответственность за все то, что случилось в последние годы существования империи, и за ее гибель.

Глава 25

НА ПОКОЕ

В дни, когда шел суд над Петровым и работала комиссия, расследовавшая мою деятельность, меня не было в Петербурге. Департамент Полиции срочно отправил меня в командировку в Иркутск, что было только предлогом. Поездка отняла у меня больше месяца. Когда я вернулся, Петров был уже повешен, и вся эта история казалась отошедшей в область прошлого. Но мне сразу же бросилось в глаза резко изменившееся отношение ко мне. Целый ряд лиц, ранее искавших моего знакомства и даже заискивавших передо мной, теперь явно сторонились меня. Другие, в сочувственном отношении которых я не мог сомневаться, как будто ждали от меня каких-то объяснений. Некоторые задавали даже вопросы: „Почему вы молчите? Почему не защищаетесь?". Но когда я начинал спрашивать, против чего я должен защищаться, никаких точных ответов я не получал. Напомню, что в то время я знал, что против меня в связи с делом Петрова плетется интрига, но о характере обвинения я не имел точного представления. Особенно для меня чувствительно было явное изменение отношения ко мне Петра Аркадьевича Столыпина, который уклонялся от встречи и бесед со мною.

Чтобы выяснить положение, я решил обратиться непосредственно к Курлову и поставил перед ним ребром вопрос:

„Мне передают, что против меня выдвинуты какие-то обвинения. Я хотел бы знать, в чем они заключаются, и иметь возможность на них ответить."

Курлов от ответа уклонился.

„А, так, разные пустяки, мало ли что болтают. Не стоит обращать внимания, не принимайте так близко к сердцу. Теперь все улажено."

И это говорил человек, который незадолго перед тем подал свой голос за предание меня военному суду.

Из этого ответа я убедился, что правды от Курлова я не узнаю, и решил не делать больше никаких попыток для выяснения моего положения и предоставить все естественному ходу вещей.

Не могу сказать, чтобы положение мое было приятное. Я числился генералом для поручений при министерстве внутренних дел, но не только не получал никаких поручений, но и состоял под почти не скрываемым надзором полиции. Петербургское Охранное отделение установило за мною слежку, правда, следили за мной не местные филеры, которых я всех превосходно знал в лицо, а специально выписанные для этого, как я узнал позднее, филеры киевского Охранного отделения. Но, конечно, не заметить это наблюдение я не мог, да и велось оно слишком примитивно. Куда бы я ни шел, в гости ли, по делам ли, или просто на прогулку, за мной неизменно шли два провожатых. Сначала это меня раздражало, но потом я привык. Выходило немало курьезов. Помню, уже перед самой революцией, как-то раз во время своей обычной прогулки по Невскому, я столкнулся с Бурцевым. Он шел в сопровождении филеров. Шли филеры и за мной. Бурцев раньше был моим злейшим врагом в качестве разоблачителя моих лучших сотрудников по борьбе с революционным движением. Теперь это было уже в прошлом, но я не мог не улыбнуться иронии судьбы, которая нас теперь поставила в равные условия. Я поклонился Бурцеву, познакомиться с которым мне незадолго до того привелось. Несомненно филеры этот мой поклон зарегистрировали.

Как-то мне пришлось встретиться с полковником фон-Коттеном, который в это время был начальником петербургского Охранного отделения. Я не мог отказать себе в удовольствии поиронизировать над установленной за мной слежкой. Наблюдение за бывшими крупными сановниками и даже министрами после того, как они выходили в отставку, было, правда, делом обычным. Но наблюдение за начальниками Охранных отделений в нашей практике встречалось не часто. Коттен был несколько смущен и, оправдываясь, говорил:

– Мне и самому совестно. Но что же делать, если я имею прямое приказание?

Так и проходили за мной филеры до самых дней февральской революции.

Осенью 1911 года произошла известная катастрофа. Столыпин был убит. Ее нужно было предвидеть. И в то время, и позднее – против Курлова, который был в это время руководителем политической полиции в Империи, и его ближайших помощников выдвигались прямые обвинения в том, что именно они прямо или косвенно организовали это убийство. Это было, конечно, неверно. Ни малейшего намека на правильность такого обвинения никогда никем найдено не было. Но тем не менее их вина была очень велика. Дилетанты в области политического сыска, во всей истории с Богровым они совершили такое количество ошибок, за которые их с полным основанием можно было предать суду. Выдумки Богрова, явно нелепые для мало-мальски опытного человека, ими были при-

няты на веру безо всякой проверки. Дать ему билет в театр и оставить его там без строгого наблюдения — можно было, только не зная элементарных правил работы с секретными сотрудниками. Все это они сделали, рассчитывая на награды, которые посыпятся на них после предотвращения цареубийства. В то время не было секретом, что они уже распределяли между собой награды.

Это их поведение в Киеве не представляло исключения. Вся их деятельность в тот период вообще была ничем иным как работой по разложению аппарата политического розыска. Позднее мне передавали, что именно так ее расценивал Столыпин и очень хотел избавиться от Курлова, но не мог. Сохранения Курлова во главе политической полиции требовал сам царь, видевший в Курлове необходимый корректив к казавшемуся ему в это время чересчур левым Столыпину.

После смерти Столыпина министром внутренних дел стал А.А. Макаров, впоследствии растрелянный при большевиках. Он относился ко мне очень хорошо, и за немногие месяцы его пребывания на посту министра внутренних дел мое служебное положение заметно улучшилось: мне был дан ряд весьма ответственных и щекотливых поручений. Самым крупным из них было поручение, касавшееся великого князя Михаила Александровича. Этот последний, как в то время было известно всем, уже несколько лет жил с дочерью московского адвоката Вульферта и уже давно хотел оформить эти отношения. Государь был решительно против и строжайше запретил Михаилу даже думать о морганатическом браке. Великий князь, не считаясь с этим запрещением, решил жениться. Еще в начале 1909 года, в самые последние дни моего пребывания на посту начальника Охранного отделения, мне пришлось столкнуться с этим делом. Тогда меня вызвал дворцовый комендант Дедюлин, под большим секретом рассказал мне всю историю великого князя Михаила Александровича и просил моего содействия в следующем деле: дворцовой комендатуре было достоверно известно, что великий князь собирается обвенчаться и уже отыскал для этой цели одного священника, который согласился за очень крупную сумму обвенчать его в домовой церкви какого-то благотворительного учреждения. Дедюлин попросил меня расстроить этот брак. Я сказал, что это дело мне устроить будет легко. Немедленно отдал распоряжение найти и привести ко мне этого священника и, когда последний был ко мне доставлен, я ему коротко заявил:

— Вам обещали не то 5, не то 15 тысяч, если вы обвенчаете великого князя Михаила Александровича. Вы знаете, что Государь запретил этот брак. Вы идете против его личной воли. Так знайте же, вам это будет стоить очень дорого. Вот видите, — указал я ему в окно на видневшееся из моего кабинета здание Петропавловской крепости, — там уже многие кончили свою жизнь, так я вам обещаюсь, что я вас там сгною.

Священник очень перепугался, стал убеждать меня, что мои сведения не вполне точны, что к нему действительно обращались с предложением обвенчать великого князя, но он ответа еще не дал и что теперь, конечно, он ответит отрицательно. Никогда ни за какие деньги, клялся он, обливаясь слезами.

В тот же вечер я мог сообщить Дедюлину, что дело улажено. Эта моя роль стала известна министру двора барону Фредериксу и, по-видимому, именно ей я обязан тем, что на меня же выпал выбор барона Фредерикса, когда великий князь Михаил Александрович вновь решил привести в исполнение свои старые планы о женитьбе. Я был вызван к барону Фредериксу, который заявил мне:

– Государь Император решил возложить на вас весьма секретное и доверительное поручение. Его брат, великий князь Михаил Александрович, несмотря на прямое запрещение жениться, решил по-видимому привести этот план в исполнение. Теперь он уезжает за границу, куда вслед за ним едет и госпожа Вульферт. Вы должны также поехать вслед за ними и сделать все, что вы находите нужным, для того чтобы помешать этому браку.

Должен признаться, что это предложение далеко не обрадовало меня. Я указал, что мое положение будет чрезвычайно трудным, ибо я не представляю себе, какими средствами могу я воздействовать на великого князя, убедить которого оказался бессильным сам Государь Император.

По-видимому, это было не совсем ясно и для барона Фредерикса, который, вполне признавая трудность и щекотливость возлагаемого на меня поручения, подчеркивал главным образом тот факт, что Государь Император доверяет моей тактичности и ловкости. Конкретно барон Фредерикс указал, что в случае, если великий князь будет венчаться в церкви, я имею право подойти к нему, от имени Государя объявить его арестованным и потребовать немедленного выезда в Россию.

Тщетно я указывал, что великий князь, не послушавшийся Государя лично, конечно, не обратит внимания и на мои слова. Тщетно я просил передать это дело кому-нибудь другому, барон Фредерикс категорически заявил, что я не имею права отказываться от поручения, данного мне Государем Императором. Пришлось подчиниться.

В министерстве иностранных дел мне был выдан особый открытый лист, подписанный и товарищем министра Нератовым, в котором стояло, что министерство иностранных дел просит все подведомственные ему учреждения и лица оказывать мне полное содействие в выполнении возложенного на меня Государем весьма важного секретного поручения. С этим заданием тем же поездом, что и великий князь, я выехал в Париж.

В Париже в мое распоряжение поступило 4 или 5 филеров нашего парижского отделения во главе со старым испытанным ра-

ботником последнего, г. Бинт. Я дал им соответствующие инструкции. За великим князем удалось установить точное наблюдение – не то консьержка, не то кто другой из служащих их дома давали сведения о внутренней жизни. При всех поездках и выходах великого князя сопровождали агенты. Особенно обязаны они были следить за посещением великим князей церквей. Если бы в церковь отправились одновременно и великий князь и госпожа Вульферт, агенты должны были немедленно сообщать об этом мне, и я должен был мчаться, для того чтобы выполнить высочайшую волю относительно ареста великого князя. Так прошло несколько недель. Затем пришло сведение, что великий князь собирается на днях выехать на автомобиле в Ниццу, где в русской церкви он и должен повенчаться. Сопровождать его тоже на автомобиле через всю Францию было, конечно, невозможно. Поэтому я, оставив филерам инструкции, сам решил выехать в Ниццу, чтобы там выяснить возможности воспрепятствовать браку. В Ницце я получил телеграмму, что великий князь действительно выехал на автомобиле, но не в Ниццу, а в совсем другом направлении. Мне оставалось только ждать. Еще через несколько дней я получил телеграмму, что великий князь был в Вене и там вместе с госпожей Вульферт посетил сербскую церковь. А недели через полторы они приехали в Ницщу уже в качестве официальных мужа и жены и принимали поздравления от своих близких и знакомых. После этого я написал в Петербург дворцовому коменданту Дедюлину обо всем, что случилось, и прибавил, что, по моему мнению, мое дальнейшее пребывание за границей бесполезно. Дедюлин ответил, что Государь уже получил письмо от Михаила о состоявшемся браке, и что я действительно могу считать свою миссию оконченной, только должен постараться получить в Вене официальную копию брачного свидетельства. Я поехал в Вену, посетил сербскую церковку, нашел ее священника.

„Это вы обвенчали великого князя?" – спросил я. Сербский священник, старичок, бедный и запуганный, – весь дрожал, почти плакал. Он уверял, что только позднее узнал о том, кого он обвенчал, и все просил меня не погубить его. Я успокоил его, заявив, что ни желания, ни возможности губить его я не имею, и только просил его дать мне официальную копию брачного акта. Свадьба была очень скромная, свидетелями были старик церковный служка и его жена. За выданную мне официальную копию я заплатил не то 500, не то 600 крон и ушел, провожаемый и священником и служкой, рассыпавшимися во всевозможных благодарностях. В Петербурге я представил официальный доклад о своей миссии. Она не принадлежала к числу моих удачных предприятий, но мне кажется, что она и не могла быть успешной.

Второе тоже очень щекотливое поручение было возложено на меня летом 1912 года в связи с конфликтом между епископом

Гермогеном и Распутиным. Меня вызвал к себе министр внутренних дел Макаров и сообщил, что по высочайшему повелению саратовский архиепископ Гермоген, проживавший в это время в Петербурге в качестве члена Синода, должен быть выслан в Жировицкий монастырь. Причина этой высылки состояла в том, что епископ Гермоген вместе с Илиодором завлекли Распутина, с которым они до этого состояли в дружеских отношениях, на квартиру Гермогена в Александро-Невской лавре и, под угрозой насилия, требовали от него поклясться на кресте и евангелии в том, что он не будет больше посещать царский дворец и вообще поддерживать отношения с членами царской семьи. Но Распутин вырвался от них и изобразил дело Государю так, как будто бы это было покушение на его жизнь. Разгневанный Государь после этого отдал предписание о высылке епископа Гермогена, который до того времени пользовался большим благорасположением царской семьи.

Поручение, переданное Макаровым, было для меня очень неприятным. Незадолго перед тем я лично познакомился с епископом Гермогеном как раз на квартире у Макарова, несколько раз с ним встречался, и он произвел на меня в высшей степени хорошее впечатление. Высокий, худощавый, с острым, ясным умом, аскет по внешности, он производил впечатление настоящего христианского подвижника, способного умереть за свою веру. Последующая его жизнь доказала правильность этого впечатления. Тем более неприятно мне было выступать в роли передатчика высочайшего повеления об его высылке. Я представил мои возражения Макарову и просил его поручить приведение в исполнение высочайшего постановления кому-нибудь другому. Макаров, признавая резонность моих соображений, сказал, что тем не менее он должен настаивать на выполнении поручения именно мною, так как он думает, что я выполню это щекотливое дело лучше кого бы то ни было другого. В заключение он дал мне письмо к Гермогену, в котором просил последнего смириться перед высочайшей волей, и без всяких осложнений выехать из Петрограда. С этим письмом я отправился к епископу Гермогену. Нельзя сказать, чтобы встреча была очень приятная. Епископ был очень взволнован, он по-видимому не ждал, что результаты его столкновения с Распутиным будут носить такой характер. В начале он категорически отказывался подчиниться, предлагая арестовать его и отправить этапным порядком. С большим трудом мне удалось его уговорить, причем я взял на себя обязательство устроить дело так, что всякая видимость ареста будет устранена, что он поедет без какой бы то ни было стражи. „Я даже сам не буду вас сопровождать," — обещал ему я.

Наконец, Гермоген согласился, и мы условились, что к определенному часу он прибудет на вокзал. На вокзале я снесся с начальником жандармского железнодорожного управления дороги полковником Соловьевым и условился с ним, что как раз в этот день

он выедет якобы для служебных ревизий по дороге и возьмет в свой служебный вагон епископа Гермогена.

Не без тревоги ждал я на вокзале в условленный час епископа Гермогена. Если бы он не сдержал своего обещания и не приехал на вокзал, то мое поручение пришлось бы выполнять с применением насилия, что было бы для меня в высшей степени неприятно. К моему облегчению, епископ Гермоген свое обещание выполнил. Я его встретил на вокзале и провел к вагону полковника Соловьева. Когда Гермоген вошел в вагон и увидел там Соловьева и сопровождавших его жандармов, то он пришел в ярость и начал упрекать меня в том, что я не сдержал своего слова и отправлю его под конвоем жандармов. С большим трудом удалось его успокоить и объяснить, что это не конвой, а случайно совпавшая поездка, и что ехать ему в вагоне полковника Соловьева будет во всех отношениях удобнее. Вся дальнейшая поездка прошла благополучно, и я с большим облегчением мог доложить Макарову о выполнении возложенной на меня миссии.

Так же как и я, Макаров относился очень отрицательно к деятельности Распутина и все время ставил вопрос о том, как можно было бы прекратить эту деятельность. Я ему рассказал о плане высылки Распутина, который был года за три-четыре перед тем предложен мною Столыпину, и Макаров думал о том, чтобы этим планом воспользоваться теперь. К сожалению, опять замыслы министра не остались секретом для Распутина. Но так как влияние Распутина теперь было значительно больше, чем в 1908-09 году, то и результаты для Макарова были значительно более плачевны. Распутин сообщил о „кознях" против него со стороны министра и Государь немедленно подписал указ об увольнении Макарова в отставку.

Позднее мне пришлось с Макаровым не раз говорить на тему о Распутине и его роли, причем Макаров с глубокой скорбью говорил, до какой степени падения доходили многие министры. Они часто в наиболее важных вопросах, по которым должны были докладывать Государю, осведомлялись предварительно о мнении Распутина и затем, представляя свой доклад Государю, прибавляли, что „Григорий Ефимович вполне согласен с высказываемыми мною предложениями". Такой прибавки было совершенно достаточно, для того чтобы быть уверенным в получении высочайшего соизволения.

Вскоре за отставкой Макарова формально окончилась и моя служебная карьера. Новым министром был назначен Н. Маклаков, его товарищем – Джунковский. Тот самый, о котором мне в свое время сообщали, что в октябрьские дни 1905 года он, будучи московским вице-губернатором, вместе с революционерами-демонстрантами под красным флагом ходил от тюрьмы к тюрьме для того, чтобы освобождать политических заключенных. Вскоре

после вступления их в деятельность, я получил за подписью Маклакова весьма сухую бумажку, смысл которой сводился к следующему: ознакомившись с вашей деятельностью, я пришел к выводу, что вы не можете в дальнейшем состоять на правительственной службе, и потому прошу вас подать в отставку. Первое мое движение было отказаться последовать этому предложению и потребовать официального суда над собою. Но затем, немножко успокоившись, я понял, что все равно никаких положительных результатов я этим своим шагом не добьюсь. Материально я ни в какой мере в продолжении службы заинтересован не был. В конце концов я решил подать прошение об отставке. В начале 1914 года я получил официальное извещение о том, что моя отставка принята. С этого момента я больше никакого отношения к судебным делам не имел и созерцал события уже в качестве частного человека.

Глава 26

В ГОДЫ ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ

Разговоров о войне в то время велось немало, и все же когда война пришла, она была для всех неожиданной. Меньше всего ждал ее я. Помню, я собрался тогда поехать за границу подлечиться в Виши. По дороге заехал к моей дочери, которая вместе со своим мужем жила в Польше, и там узнал о начавшейся мобилизации. Полк, в котором офицером состоял мой зять, получил срочный приказ двинуться к границе. Конечно, о поездке дальше не могло быть и речи. Я вернулся в Петербург. Он переживал в то время дни военной лихорадки. По улицам ходили демонстрации с национальными флагами. Всюду произносились патриотические речи. Особенно восторженно были настроены офицеры, которые составляли главный круг моих знакомых. Мне эти настроения с самого начала были чужды. Я смотрел на будущее очень пессимистически. Может быть, лучше, чем кто бы то ни было другой, я знал, насколько непрочно то успокоение, которое царило внутри страны, – насколько сильны в ней революционные настроения и насколько опасна в этих условиях война. Помню, я не раз высказывался в этом смысле и говорил о войне как о начале длинной серии страшных несчастий, которые надвигаются на нашу родину. Мои настроения стояли в таком резком противоречии с настроениями всех окружающих, мои речи звучали таким резким диссонансом в общих разговорах тогдашних петербургских гостиных, что за мной сложилась репутация чудака-пессимиста и даже германофила. А между тем я был уверен, что именно я прав, и я не раз говорил, что если бы Столыпин был жив, если бы он стоял по-прежнему у кормила правительственной власти, то он никогда бы войны не допустил. В этом я твердо убежден и теперь. Мне приходилось на эту тему не раз говорить со Столыпиным. Он всегда расценивал войну как величайшее несчастье изо всех, какие только могут постигнуть Россию. Он считал, что Россия только начинает внутренне укрепляться, что в ней только теперь, после проведения земельной реформы, складывается тот класс, который способен стать прочной опорой порядка. Еще лет 10-15, говорил он, и нам будут не страшны все рево-

люции. Только бы история дала нам этот срок. Верный этим взглядам, он, пока был жив, решительно боролся против всех попыток увлечь Россию на путь внешних авантюр. Хорошо помню его тревогу в дни аннексии Боснии и Герцеговины Австрией. Как известно, после провозглашения этой аннексии, в столицах началась сильная агитация в пользу войны против Австрии. Интеллигенция, и либеральная, и консервативная, говорила о необходимости выступить „на защиту братьев-славян". Происходили демонстрации, устраивались собрания. После одной из очередных поездок в Царское Село для доклада Столыпин на обратном пути сказал мне: „Сегодня мне удалось спасти Россию от гибели", – и рассказал, что во время доклада царь сообщил ему как об уже состоявшемся факте о своем решении дать согласие на мобилизацию трех военных округов против Австрии. „С большим трудом, " – говорил Столыпин, – „мне удалось убедить Его Величество, что этот шаг неизбежно повлечет за собой войну с Германией, и что эта война грозит самому существованию и династии, и Империи. О какой войне может быть речь", – прибавлял Столыпин, – „когда у нас внутри достигнуто еще только поверхностное успокоение, когда мы не создали еще новой армии, когда у нас даже нет новых ружей".

Тогда война была предотвращена. В 1914 году Столыпина не было...

Скоро, очень скоро сообщения с театра военных действий стали приносить подтверждения правильности моего пессимизма. Легла гвардия в боях под Кенигсбергом, разбили Самсонова под Сольдау, все яснее и яснее становилось, что хвастливые заявления руководителей военного ведомства не соответствуют действительности. Вооружение нашей армии было явно не достаточно, командование явно стояло не на высоте, и поражение следовало за поражением. Вчерашние оптимисты, готовые кричать, что они шапками закидают врага, теперь ударились в другую крайность. Всюду шли разговоры о предательстве в тылу, о тайных пособниках Германии, которые расстраивают дело снабжения, о темных силах, которые работают на дело поражения России. Такие разговоры шли и в верхах и в низах. Особенно много внимания уделяли роли Распутина, понастоящему ставшего известным всей России только теперь. О нем говорили по-разному, мне приходилось слышать солдатские разговоры о том, что царь теперь разуверился в дворянах и чиновниках и решил приблизить к себе „нашего брата, простого мужика", и что это только начало, что скоро вообще всех „дворян и чиновников" царь прогонит прочь от себя и наступит „мужицкое царство". Но более распространенным было другое мнение: о темных силах, в руках которых Распутин был только орудием. О Распутине говорили все, и в форме, которая унижала наше национальное самолюбие. Помню, в конце 1915 года даже один из знакомых французских генералов, приехавший в Россию в составе какой-то фран-

цузской военной миссии, встретив меня на Невском, спросил весьма иронически: „Ну, какие новые распоряжения вышли от Распутина?"

Этот вопрос очень больно задел меня, и я ответил на него в достаточной мере резко. Но по существу я не мог не сознавать, что мой знакомый имел право ставить этот иронический вопрос.

Почти весь 1916 год я провел вне Петербурга, в Крыму. Вернулся в начале декабря и сразу же почувствовал, что за этот год атмосфера напряглась до невозможности. Чувствовалось приближение событий. Имя Распутина было у всех на устах. На святках пронеслась весть об его исчезновении. Вскоре стали известны подробности его убийства. Общие отзывы были единодушны. Все были рады: „Слава Богу, наконец, с этим позором покончено."

Все надеялись, что теперь будет покончено с влиянием темных сил вообще. Я был настроен скептически. Меня грызла мысль: не поздно ли? Из встреч со старыми знакомыми офицерами я знал, что революционная пропаганда в армии ширится и растет. Кронштадтские офицеры-моряки рассказывали о том, что на кораблях и в казармах уже с осени идут митинги. Такие же вести приходили с фронта. Больше всего удивляла меня пассивность власти, которая не принимала энергичных мер в момент, когда важнее всего было быть решительным и энергичным. От одного моего хорошего знакомого, старого друга, занимавшего видный пост в армии, я узнал, что недовольство существующими порядками настолько широко распространено в этих верхах, что уже вылилось в форму военных заговоров. Было, как он говорил, два организованных центра этих заговоров. Один, который охватывал командные круги, как Петроградского военного округа, так и штабов на фронте, второй – был заговор дворцовый, руководящую роль в котором, по слухам, играл великий князь Андрей Владимирович, и к которому примыкали или которому сочувствовали почти все великие князья и близкие к ним офицеры. Программа обеих этих групп была одна и та же: отречение Государя и провозглашение царем наследника при регенте великом князе Михаиле Александровиче.

Мой знакомый рассказывал мне об этих заговорах с большими подробностями и с рядом имен, считая их, по-видимому, делом самым обычным. Во мне его рассказ возбудил самые сложные чувства. С одной стороны, я, игравший такую роль раньше в деле борьбы со всякого рода заговорами, сознавал, что моим долгом было бы явиться к теперешним руководителям политической полиции и, сообщив им известные мне факты, дать возможность предотвратить готовящийся переворот. Но с другой стороны, по существу, я сам целиком сочувствовал людям, эти заговоры организовывавшим, и понимал, что, если есть возможность предотвратить надвигающуюся катастрофу, то только одним путем – возможно

более быстрым проведением переворота сверху. Положение было действительно настолько трагично, что только быстрая смена главы государства могла предотвратить революцию и спасти государство и династию. Пусть только действуют скорее, чтобы революция их не перебила, — думал я, и в этом же смысле говорил тому моему знакомому, который рассказывал мне о планах заговорщиков.

У меня было много опасений, что революция снизу может опередить заговорщиков, готовивших переворот сверху. Как раз в это время, через несколько дней после разговора с упомянутым заговорщиком, я случайно на улице столкнулся с одним из наиболее крупных моих секретных агентов в прошлом. Он зашел ко мне, и мы разговорились. Он имел отношение к революционерам, теперь уже не в качестве секретного агента. Я рассказал ему в общих чертах то, что слышал о военных заговорах. Он смеялся:

— Пока ваши там люди размышляют и нацеливаются, будет уже поздно. Революция их опередит. Вы себе и не представляете, как напряженно настроение в низах, как много революционного материала накопилось и среди рабочих и в армии.

К сожалению, он был прав. В середине февраля начались волнения в Петербурге. Причина забастовки была какая-то совсем пустяковая. Кажется, в течении двух-трех дней хлеба выдавали меньше, чем было обещано. Но она быстро разрасталась. Начались демонстрации на улицах. Всю серьезность положения я почувствовал, когда увидел казачий разъезд, пробиравшийся среди толп демонстрантов, причем некоторые казаки держали в руках красные платки и приветливо улыбались демонстрантам. Это было открытое выражение симпатий, и если так были настроены казаки, то легко можно было понять, что следовало ждать от петроградского гарнизона в случае, если понадобятся его решительные действия.

Эта встреча заставила меня попытаться войти в соприкосновение с теперешними руководителями политической полиции. После всего, что случилось, после тех клевет, которые они на меня возвели, мне это было нелегко. Тем не менее я позвонил Белецкому, который в это время числился сенатором и формально не имел отношения к Департаменту Полиции, но пользовался большим влиянием в Царском Селе, куда он почти ежедневно ездил с докладами к царице. Я ему рассказал о моей случайной встрече и попытался заставить его понять всю серьезность положения.

— Вы ездите ежедневно в Царское Село, — говорил я ему. — Скажите же Государыне, что ведь это настоящая революция. Надо принять самые решительные меры и как можно скорее, быть может завтра уже будет поздно.

Белецкий меня успокаивал:

— Да, да, вы правы, теперь я это сам вижу. Я уже докладывал Государыне, и она отдала распоряжения. Завтра же на улицу будут выведены войска и всяким демонстрациям будет положен конец.

Действительное развитие событий известно.

С первых же дней революции для меня началась долгая эпопея тюремных скитаний. 7 марта я был арестован по требованию Совета рабочих депутатов и доставлен в Государственную Думу. В течение 10 дней меня держали там в так называемым „министерском павильоне", который был превращен в тюрьму для сановников старого режима. Потом перевели в Кресты. Вскоре меня освободили по хлопотам В.Л. Бурцева. С последним я познакомился в 1916 году, после того как он был возвращен из своей ссылки в Сибирь. Он интересовался рядом вопросов из истории деятельности политической полиции и искал в этой связи встречи со мною. Я не видел причин уклоняться от встречи, и мы несколько раз имели с ним очень интересные для меня разговоры, причем я не отказывался давать ему разные разъяснения, поскольку речь не шла о секретах, которые стали мне известны по моей служебной деятельности. Теперь Бурцев взял меня на свои поруки. К сожалению, пробыть на свободе мне пришлось всего 3-5 дней. По требованию вернувшихся из Парижа социалистов-революционеров я был снова арестован, и надо мной наряжено было следствие за мою деятельность по борьбе с террористическими организациями. На этот раз сидеть пришлось в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, тюрьме, в которой раньше держали только смертников. Условия содержания были очень тяжелые, плохая была пища, часто отказывали в прогулках. Хуже всего было то, что солдаты крепостной команды, охранявшие нас, время от времени начинали в коридорах тюрьмы митинговать, громко обсуждая вопрос о том, не проще ли было бы нас не караулить, а просто расстрелять и спустить в Неву. Временами положение становилось очень напряженным, так что даже приходилось представителям Совета рабочих депутатов приезжать и успокаивать волновавшихся солдат. Помню, как раз перед дверями моей камеры шел один такой митинг, причем оратором от Совета выступал известный социалист-революционер Гоц. С большим трудом ему удалось убедить солдат отказаться от своих намерений. Подробно рассказывать об этих днях у меня нет охоты. С тех пор так многие перебывали в тюрьмах, и даже в гораздо более тяжелых условиях, и так много об этом написано, что у меня нет желания вспоминать о моих личных скитаниях и увеличивать обширную тюремную литературу. Не могу только не упомянуть о той роли, которую сыграл наш тюремный врач, добрейший доктор Иван Иванович Манухин. Социал-демократ по убеждению, в отношении нас, „сановников старого режима", он был настоящим благодетелем. Все, что только было в его силах, он сделал для нас, увеличил тюремные рационы, всех, кого только можно было, переводил в тюремную больницу, многие из нас обязаны ему здоровьем и даже жизнью.

Все мы находились в ведении чрезвычайной следственной ко-

миссии бывшего московского присяжного поверенного, после революции ставшего сенатором, Н.К. Муравьева. Моей деятельностью он очень интересовался. В их руки попали все те документы, которые в свое время комиссия Курлова, Виссарионова и Климовича собрала против меня в связи с делом Петрова. После я узнал, что в комиссии было уже решено, на основании этих документов, предать меня суду за злостную „провокацию", которая выражалась в том, что я якобы подготовлял террористическое покушение вместе с Петровым. Послс Бурцев мне рассказывал, что он был приглашен к Муравьеву, который сообщил ему о найденных им документах и о том, что скоро будет поставлен мой процесс. „Я, – рассказывал мне Бурцев, – схватился прямо за голову и начал уговаривать как можно скорее от этих планов отказаться, ибо процесс сулил только одну компрометацию комиссии". Со стороны революционной Бурцеву была превосходно известна закулисная сторона дела Петрова, и он не сомневался, что обвинения, выдвинутые против меня Петровым, ни в коей мере не отвечали действительности. Муравьев отказался от плана поставить процесс немедленно и передал дело для дополнительного расследования.

Были допрошены Натансон, Савинков, Бартольд и ряд других революционеров-террористов, в той или иной мере связанных с Петровым. Все их показания я читал, они полностью подтвердили и доказали утверждение Бурцева и реабилитировали меня. Следователь, который вел это следствие, после того как дал мне ознакомиться с этими показаниями, говорил: „Вас спасли ваши прежние враги. А вот ваши бывшие друзья... Ловко они вас в свое время съели."

Так дело было похоронено.

Недели через две после большевицкого переворота к нам в тюрьму явился комиссар-большевик. В это время мы уже были развезены из Петропавловской крепости по разным тюрьмам. Меня содержали в бывшей долговой тюрьме в Казачьем переулке. Нас всех собрали в коридоре, и явившийся большевицкий комиссар начал опрашивать, кто за что сидит. Большинство были растратчики. Когда очередь дошла до нас, начальник тюрьмы сказал: „а это политические". Комиссар удивился: какие теперь у нас политические? Начальник разъяснил, что это деятели старого режима, арестованные по приказанию следственной комиссии Муравьева. Комиссар потребовал более точных разъяснений и в конце концов заявил, что он считает наше содержание под стражей неправильным и несправедливым: „Они по-своему служили своему правительству и выполняли его приказания. За что же их держать?"

Через несколько дней начались освобождения. Из нашей группы освободили почти всех. Только бывший министр Хвостов, относительно которого было доказано, что он совершил хищение

казенных денег, остался в тюрьме. Да еще Протопопов был не освобожден, а лишь переведен в больницу, в которой, правда, за ним наблюдали только врачи. Меня освободили, обязав подпиской явиться по требованию следственных властей.

Так дело шло до весны. Приблизительно в апреле у меня был очень интересный разговор с бывшим министром Протопоповым, который мне много объяснил из событий периода, предшествовавшего революции. Разговор состоялся по инициативе Протопопова. Он передал мне через общих знакомых, что хотел бы со мной повидаться и поговорить. Я пришел к нему в больницу. Протопопов вначале говорил, что он очень интересовался мною, что первые дни вступления в должность министра он хотел даже пригласить меня вновь на активную работу, но, прибавлял он, мне такое о вас наговорили, такие документы показали, что у меня даже волосы дыбом встали. Только теперь я узнал, что все это была клевета.

В дальнейшем разговоре Протопопов очень подробно рассказал мне историю своего назначения министром. В качестве товарища председателя Государственной Думы он был выбран председателем той делегации членов Думы, которая совершила поездку к нашим союзникам, посетила Париж и Лондон. Эта поездка, говорил Протопопов, показала мне, что военное положение наших союзников очень невеселое. Положение на их фронтах было очень тяжелым, организация тыла расхлябана, катастрофы можно было ждать буквально со дня на день. Поэтому, когда в Стокгольме мне через разных посредников было предложено встретиться с представителем германского правительства Вартбургом и ознакомиться с германскими условиями мира, я счел своим патриотическим долгом принять это предложение. Встреча состоялась. И после долгого разговора Вартбург мне сообщил, что он имеет вполне официальные полномочия передать Государю Императору условия сепаратного мира, которые сводились приблизительно к следующему: вся русская территория остается неприкосновенной, за исключением Либавы и небольшого куска прилегающей к ней территории, которые должны отойти к Германии. Россия проводит в жизнь уже обещанную ею автономию Польши, в пределах бывшей русской Польши, с присоединением к ней Галиции. Эта автономная Польша вместе с Галицией будет оставаться в составе Российской Империи. На Кавказе к России присоединяется Армения. Какой-то особый пункт говорил, я не помню уже теперь, или о нейтрализации или о присоединении к России Константинополя и проливов. Условий мира с союзными державами Вартбург не указывал, но подчеркивал, что никакой помощи от России против ее бывших союзников Германия не потребует.

Протопопов обещал передать эти предложения царю. И с этой целью, приехав в Петербург, испросил у него личной аудиенции. Царь внимательно выслушал рассказ Протопопова о свидании с

Вартбургом, поблагодарил Протопопова за его сообщение и прибавил:

– Да, я вижу, враг силен. Я согласен, при нынешнем положении те условия, которые вы передали, для России были бы идеальными условиями. Но разве может Россия заключать сепаратный мир? А как отнеслась бы к этому армия? А Государственная Дума?

В итоге разговора Протопопов, как уверял он меня, получил от Государя формальное поручение переговорить с представителями руководящих фракций Государственной Думы и выяснить их отношение к германским предложениям. Протопопов прибавил, что он будто бы сделал попытку устроить совещание представителей думских фракций, но настроение, которое на этом совещании обнаружилось, было таково, что о подробном рассказе относительно германских условий не могло быть и речи, он не излагал их. Наши политики, говорил Протопопов, оказались невероятными идеалистами, совершенно не понимающими интересов страны. А ведь только заключив такой мир, мы могли спасти страну от революции.

Вскоре после этой нашей беседы отношение большевиков, до того очень снисходительное к нам, „сановникам старого режима”, начало заметно меняться. В это время произошло восстание Краснова на Дону, переворот Скоропадского на Украине, началось восстание чехословаков на Волге. Атмосфера становилась все более и более тревожной. Однажды, в начале мая 1918 года, ко мне зашел один мой знакомый, занимавший тогда место какого-то комиссара у большевиков. Он только что перед этим совершил поездку в Москву и пришел ко мне, чтобы рассказать: в Москве настроение очень тревожное, неизбежно начало террора, скоро будут произведены большие аресты. Он настоятельно советовал мне не медлить и двигаться куда-нибудь за пределы досягаемости большевицкой власти. Я решил последовать его совету. Так как я был родом с Украины, то мне было очень легко оптироваться в качестве украинского гражданина, и с ближайшим же этапом украинских граждан, которые тогда свободно пропускались большевиками, я отправился на юг. Этому я был обязан своим спасением. После я узнал, что буквально через несколько дней после моего отъезда в Петербурге начались аресты сановников старого режима. Приходили и за мною.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УПОМИНАЕМЫХ ЛИЦАХ

АЗЕФ Евгений Филиппович (1869-1918) — Происхождением из Ростова н/Д. Получил инженерное образование. В 1892 поступил осведомителем в Департамент Полиции. С годами выдвигался на этой службе и на постах в партии эсеров. Разоблаченный в 1909, бежал в Германию и скрывался там до смерти.

Полную картину разрушения эсеровского терроризма, совершенного Азефом, сами вожди этой партии оценили, только прочтя эту книгу ген. Герасимова (1934). Чернов пишет в своей книге „Перед бурей" (изд. им. Чехова, Н-Й, 1953, стр. 272): „Лишь после того, как вышли (на немецком языке) воспоминания генерала Герасимова, нам окончательно выяснилась общая картина катастрофы, постигшей нашу боевую работу, как раз в то самое время, когда БО по планам партии должна была довести свои атаки на царский режим до максимальной энергии".

АКИМОВ Михаил Григорьевич (1847-1914) — Министр юстиции: декабрь 1905-апрель 1906. Председатель Государственного Совета: 1907-1914. Сенатор.

АЛЕКСЕЕВ Михаил Васильевич (1857-1918) — Генерал. Занимал ряд высоких командных должностей в русской армии. С марта по август 1915 — Главнокомандующий Северо-Западным фронтом. С августа 1915 по март 1917 — начальник штаба Верховного Главнокомандующего (и сыграл важнейшую роль в царском отречении). Апрель-май 1917 — Верховный Главнокомандующий, снят при Керенском. На короткий срок в начале сентября 1917 — снова начальник штаба при Верховном (Керенском), — после устранения генерала Корнилова. С ноября 1917 — на Дону, один из организаторов Добровольческой армии. Умер в сентябре 1918 от болезни.

АНТОНИЙ (Вадковский) (1846-1912) — Митрополит Петербургский и Ладожский. Один из организаторов Религиозно-Философского общества (сблизить интеллигенцию с реформистским духовенством).

АРГУНОВ (Воронович) Андрей Александрович (1867-1939) — Член ЦК партии с-р и один из ее руководителей с начала века. В 1918 — член Комуча. Член уфимской директории. Эмигрировал.

БЕЛЕЦКИЙ Степан Петрович (1873-1918) — Самарский вице-губернатор. С 1909 вице-директор Департамента Полиции. Устранен в 1913. Снова возвышен в 1915, — стал товарищем министра внутренних дел. Скандально замешан в распутинские дела, снова отставлен, получил пост сенатора. Расстрелян большевиками.

БОГДАНОВИЧ — Генерал, уфимский губернатор. Убит террористами в Уфе в мае 1903.

БУЛЫГИН Александр Григорьевич (1851-1919) — Московский губернатор: 1893-1902. Министр внутренних дел с января по октябрь 1905.

БУРЦЕВ Владимир Львович (1862-1942) — Известный революционер, до 1905 террорист. За террористические призывы был осужден в Англии, выслан из Швейцарии и Франции. Не принадлежал к определенному партийному направлению, тщетно пытался объединить их. Особенно известен раскрытием тайны Азефа. С 1914 — сторонник национального единения и обороны страны. В 1915 сдался на русской границе. Сперва получил высылку, потом амнистирован. После октябрьского переворота эмигрировал.

ВИТТЕ Сергей Юльевич (1849-1915) — Министр финансов: 1892-1903, затем председатель совета министров. В октябре 1905 — главный побудитель Манифеста 17 октября и возглавил объединенный кабинет до апреля 1906. В августе 1905 заключил мир с Японией. После 1906 — не у дел.

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, в.к. (1847-1909) — Родной брат Александра III. Главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа до октября 1905.

ВОЕЙКОВ Владимир Николаевич — Генерал-майор свиты. Одно время — командир лейб-гвардии Гусарского полка. Возглавитель российского олимпийского комитета (1912). Последний (с 1913 до марта 1917) дворцовый комендант при Николае II. Эмигрировал.

ВОЙТИНСКИЙ Владимир Савельевич (р. 1887) — Социал-демократ, сослан в Сибирь по делу с-д фракции 2-й Гос. Думы. С марта 1917, после возвращения из ссылки, член исполнительного комитета Совета Рабочих Депутатов. Комиссар Северного фронта при Керенском.

ГАПОН Георгий Аполлонович (1870-1906) — Кончил полтавскую духовную семинарию в 1893, работал земским статистиком, потом стал священником. В 1898 поступил в Петербургскую Духовную академию. Был священником в тюрьме „Кресты". Имел самые хорошие отношения с эсерами до 1905. Лидер Петербургского общества фабрично-заводских рабочих. Организатор шествия петербургских рабочих 9 января 1905 с политическими требованиями. Бежал за границу. Активно вращался в революционных эмигрант-

ских кругах. По возвращении в Петербург заподозрен в связи с полицией — и повешен эсерами на даче в Финляндии под Петербургом в 1906.

ГЕРМОГЕН — Епископ Саратовский. Сперва покровительствовал Распутину, потом его обличал. За то был исключен из Синода в 1912. Высочайшим повелением сослан в Жировицкий монастырь, позже в Николо-Угрешский.

ГЕРШУНИ Григорий Андреевич (1870-1908) — Глава Боевой Организации социалистов-революционеров до 1903 („Тигр Революции"). В 1904 приговорен к казни, смененной на вечную каторгу, с которой он бежал в 1907. Умер в Цюрихе.

ГОРЕМЫКИН Иван Логгинович (1840-1917) — Министр внутренних дел: 1895-1899. После длительной отставки — председатель совета министров с апреля по июль 1906. И еще раз после длительной отставки — с января 1914 до февраля 1915. Был арестован после февральской революции.

ГУЧКОВ Александр Иванович (1862-1936) — Выдающийся русский общественный и политический деятель. Создатель, вместе с Шиповым (см.), „Союза 17 октября" (партии октябристов). Лидер октябристов в 3-й Государственной Думе с 1907, председатель Думы в 1910. Видная оппозиционная фигура в 1911-1916. Военный и морской министр во Временном правительстве: март-апрель 1917.

ДЕДЮЛИН Владимир Александрович — Генерал-адъютант. До 1905 градоначальник Петербурга. С 1909 по 1913 — дворцовый комендант.

ДУБАСОВ Федор Васильевич (1845-1912) — Адмирал, генерал-адъютант. В 1897-99 — командующий Тихоокеанской эскадрой. С ноября 1905 по июль 1906 — московский генерал-губернатор. С 1906 член Государственного Совета.

ДУБРОВИН Александр Иванович (1855-1918) — Врач. Основатель Союза Русского Народа. В своей газете „Русское Знамя" атаковал Столыпина. В 1917 заключен в Петропавловскую крепость. Расстрелян большевиками осенью 1918.

ДУРНОВО Петр Николаевич (ум. 1915) — Министр внутренних дел в Виттевском кабинете: октябрь 1905-апрель 1906. Известен своим предвоенным предсказанием несчастного исхода войны с Германией и революции.

ЗАРУДНЫЙ Александр Сергеевич (1863-1934) — Присяжный поверенный на политических процессах. После февральской революции — товарищ министра юстиции. Летом 1917 — министр юстиции. Остался в СССР.

ЗУБАТОВ Сергей Васильевич (1864-1917) — С 1896 по 1902 — начальник Московского Охранного отделения. Инициатор и убежденный сторонник поддержки правительством экономического рабочего движения. С 1902 — в Петербурге, начальник особого отдела Департамента Полиции, где занимался рабочими вопросами. Затем отстранен, и его линия заглохла. В февральскую революцию покончил самоубийством.

ЗУРАБОВ Аршак Герасимович (1873-1919) — Социал-демократ. Известен своей речью во 2-й Государственной Думе с оскорблениями русской армии. Из сибирской ссылки бежал за границу. Сотрудник Парвуса в Копенгагене в 1916. Возвратился из эмиграции после февральской революции.

ИВАНОВ Николай Иудович (1851-1919) — Генерал. Перед войной 1914 года командующий Киевским военным округом. В 1914-1916 — Главнокомандующий Юго-Западным фронтом. К началу революции состоял без должности при Ставке и послан царем на усмирение революции. К задаче этой не приступал.

ИЛИОДОР — Иеромонах, окончил Петербургскую Духовную академию. Фанатичный и зажигательный проповедник, враг Столыпина. В 1908-1911 имел большое влияние в Царицыне. Одно время пользовался покровительством Распутина, затем поссорился с ним. В 1912 расстригся и объявил себя деистом. Уехал за границу, где написал рукопись против Распутина — „Святой черт" (издана в 1917). Сочувственно отнесся к октябрьскому перевороту, уже после него создавал в Царицыне „мистическую коммуну" и объявлял себя „русским папой". В 1922 выслан из РСФСР за границу.

КАРПОВ — Полковник, сменил А.В. Герасимова на посту директора Петербургского Охранного отделения, на короткое время. Убит взрывом террориста Петрова-Воскресенского в 1909.

КАРПОВИЧ Петр Владимирович (1874-1917) — Ранний террорист XX века: в 1901 убил министра просвещения Боголепова. Бежал из Сибири с поселения в 1909 году за границу, пробыл там до 1917. В апреле 1917 утонул на возврате в Россию (пароход торпедирован немецкой подводной лодкой).

КЛИМОВИЧ Евгений Константинович — В 1905 — полицмейстер в Вильне, где был ранен бомбой. С 1906 — начальник Московского Охранного отделения, затем вице-директор Департамента Полиции, потом керченский, ростовский градоначальник, с июня 1915 — московский градоначальник. В Крыму при Врангеле — начальник контрразведки.

КОТТЕН фон — До 1909 года начальник Московского Охранного отделения, до 1912 — Петербургского. В 1917 — командир ополченской дружины, убит толпой в марте, близ Гельсингфорса.

КУРЛОВ Павел Григорьевич (1860-1923) — Крупный судейский, административный, полицейский чин. Губернатор киевский, минский, вице-директор Департамента Полиции, с 1909 по 1911 — товарищ министра внутренних дел. Заведывал охраной киевских торжеств в 1911 и несет прямую ответственность за убийство Столыпина. Был арестован в 1917 при Временном правительстве, освобожден при большевиках, в 1918 уехал за границу.

ЛАУНИЦ фон-дер, В. Ф. — Тамбовский губернатор. С 1905 — петербургский градоначальник. Убит террористами в начале 1907.

ЛОПУХИН Алексей Александрович (1864-1928) — Прокурор харьковской судебной палаты, затем директор Департамента Полиции до 1905. В 1908 выдал эсерам сотрудничество Азефа с полицией. С 1909 отбыл 4 года поселения в Сибири.

Двоюродный брат его Алексей Сергеевич Лопухин (умер 1966) оставил записки, где ссылается на рассказ А. А. после революции в Москве: о том, как и почему он выдал Азефа. Находясь в Париже, получил известие из Лондона, что его дочь похищена (при выходе из театра оттеснена в толпе от гувернантки и исчезла). А. А. поспешил в Лондон, в его поездное купе вошел Бурцев и предложил в обмен на освобождение дочери назвать имя полицейского агента в верхах эсеровской партии. Лопухин назвал Азефа — и на следующий день освобожденная дочь его вернулась к нему в лондонскую гостиницу. Видимо, изложить эту причину в общественной обстановке предреволюционной России было для Лопухина невозможно.

МАКАРОВ Александр Александрович (1857-1919) — С 1906 по 1908 — товарищ министра внутренних дел (при Столыпине). После убийства Столыпина, с сентября 1911 по декабрь 1912 — министр внутренних дел. Министр юстиции с июня 1916 по декабрь 1916, снят за неэнергичное расследование убийства Распутина. Член Государственного Совета, сенатор. После октябрьского переворота два года в тюрьмах, расстрелян большевиками.

МАКЛАКОВ Василий Алексеевич (1870-1959) — Выдающийся адвокат, оратор, правый кадет, член 2-й, 3-й и 4-й Государственных Дум. С июля 1917 — посол России в Париже, и выполнял некоторые функции русского представительства, пока не установились советско-французские дипломатические отношения (1924).

МИЛЮКОВ Павел Николаевич (1859-1943) — Ученый, историк. Выдающийся деятель дореволюционной России. Лидер партии кадетов от ее основания в 1905 до фактического конца в 1917. Член 3-й и 4-й Государственных Дум. Министр иностранных дел Временного правительства: март–апрель 1917. Продолжал политическую и публицистическую деятельность в эмиграции.

МИН Георгий Александрович (1855-1906) — Генерал-майор, командир лейб-гвардии Семеновского полка. Подавитель московского

восстания в декабре 1905. Убит в августе 1906 террористкой Коноплянниковой.

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, в.к. (1878-1918) — Родной брат Николая II. В мировую войну командовал кавалерийской („Дикой") дивизией, кавалерийским корпусом, потом был генерал-инспектором кавалерии. 3 марта 1917 отрекся от предложенного ему престола. В августе 1917 арестован при Керенском, в сентябре освобожден. Жил в Гатчине до февраля 1918, арестован большевиками, увезен в Пермь, где и расстрелян в июне 1918.

МОРОЗОВ Савва Тимофеевич (1862-1905) — Из семьи известных миллионеров, владелец Никольской мануфактуры. Друг и покровитель М. Горького. Денежно поддерживал русских революционеров. Есть веские подозрения, что его „самоубийство" под Ниццей в мае 1905 инсценировано большевиками (Красин), — это принесло им оплату крупного страхового полиса.

МУРАВЬЕВ Николай Константинович — Присяжный поверенный. В марте 1917 назначен Керенским председателем Чрезвычайной Следственной Комиссии по расследованию преступлений сановников старого режима. (Комиссия работала до октябрьского переворота и тщетно: никаких преступлений не нашла.)

МЯКОТИН Венедикт Александрович (1867-1937) — Историк и литератор. С 1906 года один из лидеров партии народных социалистов. С 1918 в эмиграции.

НАТАНСОН Марк Андреевич (1850-1919) — Революционер-народник с 70-х годов XIX века. Ведущий участник кружка „чайковцев", устроил побег Кропоткина из тюрьмы и демонстрацию 1876 с первым выступлением Плеханова. В саратовской ссылке работал на видных административных должностях и продолжал революционную работу. В 1904, после 5 лет сибирской ссылки, эмигрировал в Швейцарию. Участник парижского совещания 1904 либералов с революционерами. Участник циммервальдской конференции в 1915. В мае 1917 вернулся в Россию через Германию, сблизился с левыми эсерами.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, в.к. („младший") (1856-1927) — Двоюродный брат Александра III. Занимал различные командные должности в русской армии, в том числе с октября 1905 командовал Петербургским военным округом, гвардией, был до 1908 и председателем Совета Государственной Обороны. С начала войны 1914 до августа 1915 — Верховный Главнокомандующий, затем до февральской революции — Главнокомандующий Кавказским фронтом. Умер в эмиграции.

ПЛЕВЕ Вячеслав Константинович (1846-1904) — Директор Департамента Полиции: 1881-1884. Товарищ министра внутренних дел:

1884-1893. С апреля 1902, после убийства Сипягина, стал министром внутренних дел. В 1904 было 5 покушений на него. Убит террористом Е. Сазоновым.

ПОБЕДОНОСЦЕВ Константин Петрович (1827-1907) — Профессор-юрист, ученый богослов. Один из воспитателей Николая II. Обер-прокурор Святейшего Синода при Александре III и при Николае II до 1905 года. Противник либеральных реформ.

ПРОТОПОПОВ Александр Дмитриевич (1866-1918) — Симбирский губернский предводитель дворянства, фабрикант. Октябрист. Член 3-й и 4-й Государственных Дум и товарищ председателя Государственной Думы. Один из лидеров Прогрессивного блока. С сентября 1916 — министр внутренних дел, близок к царской чете и резко осужден обществом. С февральской революции — под арестом. Расстрелян большевиками.

РАЧКОВСКИЙ Петр Иванович (1853-1911) — С 1885 по 1902 — заведующий заграничной агентурой Департамента Полиции в Париже и Женеве. Вышел в отставку в 1902 году. В 1905-06 возглавлял политический отдел Департамента Полиции.

РУТЕНБЕРГ Петр Моисеевич — Социал-демократ, инженер. Перешел к эсерам в конце 1905. Готовил боевые дружины, принимал оружие от „активистов" в Финляндии.

САВИНКОВ Борис Викторович (1879-1925) — С 20 лет в революционном движении. Видный эсеровский террорист до 1905. Руководитель убийства Плеве (см.) и в.к. Сергея Александровича (см.). В 1906 приговорен к смертной казни, бежал из тюрьмы за границу. Стал писателем („В. Ропшин"). В 1914 пошел добровольцем во французскую армию. В апреле 1917 вернулся в Россию. При Временном правительстве — комиссар 7 армии, затем до августа 1917 — помощник военного министра. В августе окончательно исключен из партии эсеров, с которой практически давно разошелся. В 1918 руководил в Москве подпольным „Союзом борьбы за родину и свободу". Эмигрировал в Польшу, откуда вернулся в СССР, арестован, публично судим в 1925 и, видимо, убит чекистами.

СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ Петр Данилович (1857-1914) — В 1900-1902 — командующий Отдельным корпусом жандармов. В 1902-1904 на губернаторских должностях. Назначен министром внутренних дел после убийства Плеве. Был в должности с июля 1904 по январь 1905. Старался вести политику взаимного доверия между правительством и обществом, которая потерпела неудачу.

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, в.к. (1857-1905) — Родной брат Александра III. До 1905 года был московским генерал-губернатором и командующим Московским военным округом. Убит террористом Каляевым 4 февраля 1905.

СИПЯГИН Дмитрий Сергеевич (уб. 1902) — Министр внутренних дел с октября 1900 по апрель 1902. Подготовил совещание по нуждам сельско-хозяйственной промышленности.

СОКОЛОВ Михаил Иванович („Медведь") — Из крестьян. Известнейший террорист. Исключен из среднего сельско-хозяйственного училища за революционную пропаганду. В 1903 арестован в Саратове. В 1904 — бежал из тюрьмы. Сторонник аграрного террора. Отколол от эсеров партию максималистов, лидер ее. Освобожден по Манифесту 17 октября 1905. Из его крупнейших актов: ограбление в Фонарном переулке и взрыв дачи Столыпина на Аптекарском острове. Задержан случайно в конце 1906 и казнен.

СТОЛЫПИН Петр Аркадьевич (1862-1911) — Крупнейший русский государственный деятель XX века, провел важные реформы с 1905 по 1911. В 1903-1906 — саратовский губернатор, с апреля 1906 по июль 1906 — министр внутренних дел, с июля 1906 до смерти также и председатель совета министров. Убит террористом Богровым в Киеве 1 сентября 1911.

ТРЕПОВ Дмитрий Федорович (1855-1906) — Участник Турецкой войны, ранен. В 1896-1905 — московский обер-полицмейстер. В январе 1905 назначен петербургским генерал-губернатором и начальником петербургского гарнизона. С октября 1905 — дворцовый комендант.

ТРУСЕВИЧ Максимилиан Иванович (р. 1863) — Директор Департамента Полиции: 1906-1908. Потом сенатор.

ФРЕДЕРИКС Владимир Борисович, барон (1838-1927) — Кадровый военный. Министр двора с 1905 по 1917. В февральскую революцию арестован.

ХВОСТОВ Алексей Николаевич (1872-1918) — Нижегородский губернатор. Затем член 4-й Государственной Думы, принадлежал к правой фракции. Министр внутренних дел: 1915-1916. Вел с Распутиным борьбу, после того как был им выдвинут, и на этом потерял пост министра. Расстрелян большевиками в 1918.

ЧЕРНОВ Виктор Михайлович (1873-1952) — Теоретик и литератор партии эсеров. В 1904 — один из главных устроителей парижского совещания либералов с революционерами. Перед революцией 1917, в годы длительной эмиграции — выдвинулся в лидеры партии. Участник Циммервальдской конференции. С мая 1917 — министр земледелия во втором (коалиционном) составе Временного правительства. В июльские дни 1917 арестован большевицкими матросами, но освобожден Троцким. После октябрьского переворота скрывался, бежал с территории большевиков. В 1918 вел пропаганду против добровольческого движения в Сибири.

„ЧЕРНОГОРКИ" — черногорские великие княжны: Анастасия Николаевна, жена великого князя Николая Николаевича (см.) и Милица Николаевна, жена его брата, великого князя Петра Николаевича.

ШИПОВ Дмитрий Николаевич (1851-1920) — Крупнейший, авторитетнейший деятель русского земства. Председатель Московской губернской земской управы с 1893 по 1908. Вождь умеренного земского меньшинства. Вместе с Гучковым (см.) основал „Союз 17 октября", но вскоре самоустранился. В июне 1906 отклонил предложенный ему Государем пост председателя совета министров.

ЩЕГЛОВИТОВ Иван Григорьевич (1861-1918) — Министр юстиции: 1906-1915. Затем член Государственного Совета. Председатель Государственного Совета с 1 января 1917. Арестован в февральскую революцию. После октябрьского переворота большевики продолжали держать его в тюрьме, затем расстреляли.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ACHEVÉ D'IMPRIMER
LE 3 AVRIL 1985
PAR L'IMPRIMERIE
DE LA MANUTENTION
A MAYENNE
N° 9035

Серия "Наше недавнее"

Вышли из печати:

1. Н. В. Волков-Муромцев. Юность. От Вязьмы до Феодосии.
2. Н. А. Кривошеина. Четыре трети нашей жизни.
3. О. А. Хрептович-Бутенева. Перелом (1939–1942).
4. А. В. Герасимов. На лезвии с террористами.

I.S.B.N. 2-85065-062-5